
The Booker Prize 2024
Winner
ПО
ОРБ
ИТЕ

По орбите
Саманта Харви

Аннотация
Саманта Харви. По орбите
Виток — 1
Виток 1, движение вверх
С витка 1 на виток 2
Виток 3, движение вверх
Виток 3, движение вниз
Виток 4, движение вверх
Виток 4, движение вниз
Виток 5, движение вверх
Виток 5, движение вниз
Виток 6
Виток 7
Виток 8, движение вверх
Виток 8, движение вниз
Виток 9
Виток 10
Виток 11
Виток 12
Виток 13
Виток 14, движение вверх
Виток 14, движение вниз

Виток 15
Виток 16
Благодарности

Аннотация

В романе, ставшем лауреатом Букеровской премии 2024 году, рассказывается об одном дне на Международной космической станции. На протяжении всего повествования мы будем смотреть на Землю глазами астронавтов. Они наблюдают удивительное зрелище, недоступное нам; замечают знакомые места; представляют, чем заняты близкие люди; грустят, что не могут быть с ними рядом; печалятся из-за потерь, которые уже не возместить. Читая эту миниатюрную книгу, наполненную философским смыслом и глубокими переживаниями, мы не можем не чувствовать ценность всего мира и уникальность каждой жизни.

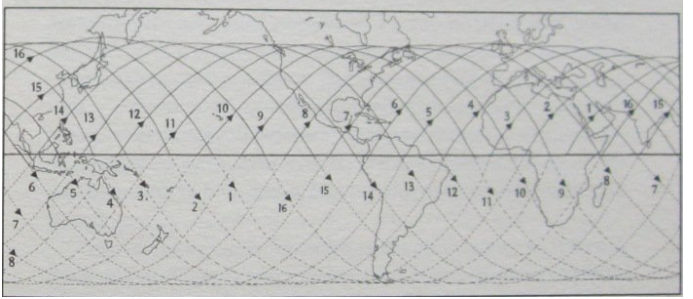
Саманта Харви
По орбите

Научный консультант Александр Хохлов
Дизайн обложки Юлии Бойцовой
Автор шрифтовой композиции Наталья Васильева

Саманта Харви в своей книге невольно выступила в роли предсказателя, угадав некоторые важные изменения в архитектуре новой американской лунной программы, связанные с развитием новых инициатив в освоении космического пространства. Но что еще более ценно, она вовлекла своих читателей в процесс осознания места человека в космосе, сделав это реалистично, отрезвляюще, с мягкими фантастическими допущениями. Возможно, это то, что нам нужно, чтобы направить свой взор в звездное небо, не теряя связи с родной планетой.

Александр Хохлов, космический инженер

Витки околоземной орбиты в течение суток
при дневном свете в Северном полушарии



Виток — 1

На борту этого вращающегося вокруг Земли космического корабля они настолько одиноки и в то же время настолько близки друг к другу, что их мысли, их личные мифологии подчас сходятся воедино. Иногда они видят одинаковые сны — о фракталах, о голубых сферах, о знакомых лицах во тьме, о сверкающей мощной черноте космоса, которая завладевает их органами чувств. Космос в чистом виде — это пантера, дикая и порывистая; им снится, что она рыщет по кораблю.

Они висят в спальных мешках. На расстоянии вытянутой руки, по ту сторону металлического корпуса, расстилаются простые вечности Вселенной. Сон постепенно развеивается, где-то вдали брезжит земной рассвет, на экранах ноутбуков загораются первые беззвучные сообщения нового дня; уже не спящая, вернее, никогда не спящая станция вибрирует вентиляторами и фильтрами. Посуда после ужина осталась неубранной — грязные вилки примагничены к столу, палочки для еды торчат из пакета на стене. Четыре синих шара парят в воздухе, гирлянда-растяжка из фольги

поздравляет: *Happy Birthday*; вчера ни у кого не было дня рождения, просто они кое-что отмечали, а других украшений под рукой не оказалось. На ножницах засохли шоколадные пятна, на нитке, привязанной к ручкам складного столика, покачивается маленькая фетровая луна.

Снаружи Земля кружится в потоках лунного света и плавно отступает, когда они неспешно устремляются к ее бескрайнему краю; клочья облаков над Тихим океаном окрашивают ночные воды в яркий кобальтовый цвет. На приближающемся южноамериканском побережье сквозь дымку облаков вспыхивает золотыми бликами Сантьяго. Невидимые за закрытыми иллюминаторами пассаты, дующие в теплых водах западной части Тихого океана, сгустились в шторм — жаровой двигатель. Ветры высасывают тепло из океана, собирают его в облака, те сгущаются, уплотняются, выстраиваются в вертикальные столбы и формируют тайфун. Он направляется на запад, в сторону Южной Азии, а корабль летит на восток и вниз, к Патагонии, где далекое полярное сияние освещает горизонт неоновыми всполохами. Млечный Путь подобен дымному следу от выстрела на атласном небе.

На борту корабля четверть пятого, утро втор-

ника, начало октября. За иллюминаторами — Аргентина, Южная Атлантика, Кейптаун, Зимбабве. Тонкий блестящий луч света пробивается сквозь нежную брешь — кажется, это планета шепчет у них за правым плечом, желая доброго утра. Они скользят по часовым поясам в безмолвии.

В свое время каждый из них был заброшен в небо на керосиновой бомбе, после чего пролетел через земную атмосферу в горящей капсуле, испытывая такое давление, словно на него навалились два черных медведя. Каждый заранее закалил грудную клетку, будто сталь, чтобы противостоять этому давлению, пока не почувствует, что первый, а за ним и второй медведь отступил, небо сменилось космосом, гравитация уменьшилась, а волосы на голове поднялись дыбом.

Сейчас они вшестером находятся внутри перемычки огромной металлической буквы «Н», витающей над землей. Они переворачиваются с ног на голову, эти четверо астронавтов (американец, японка, британка, итальянец) и двое космонавтов (оба россияне); две женщины, четверо мужчин, одна космическая станция, состоящая из семнадцати соединенных модулей и мчащаяся со скоростью семнадцать с половиной тысяч миль в час. Они последние на данный

момент шестеро из множества других, ничего невероятного в их работе уже нет, обычные астронавты и космонавты на задворках Земли. На сказочных, немыслимых задворках Земли. Переворачиваются с ног на голову в медленном ритме стремительного полета, с головы на бедро, на руку, на стопу, беспрерывно крутятся в ритме дней, мелькающих, точно в калейдоскопе. Каждый должен провести здесь примерно девять месяцев — девять месяцев дрейфовать в невесомости, девять месяцев ощущать отечность головы, девять месяцев жить как сардина в банке, девять месяцев глазеть на Землю, — а затем вернуться вниз, на терпеливую планету.

При взгляде на них представители внеземной цивилизации могли бы спросить: что они тут делают? Зачем наматывают круг за кругом? Из-за Земли — так прозвучал бы универсальный ответ. Земля — лицо возлюбленного, один вид которого заставляет их умиляться; они смотрят, как она засыпает, спит, просыпается; наблюдая за ее повседневными привычками, они забывают о себе. Земля — это мать, которая дожидается возвращения детей, переполненных впечатлениями, восхищением и тоской. Их кости стали чуть менее плотными, а руки и ноги — чуть более

тонкими. Перед внутренним взором каждого вырисовываются образы, которые трудно передать словами.

Виток 1, движение вверх

Роман просыпается рано. Выбирается из спального мешка, плывет сквозь темноту к окошку лаборатории. Где мы, где мы? Земля знает где. Сейчас ночь, а вон там видна суша. В поле зрения заползает гигантская тусклая туманность огней многонаселенного города посреди красновато-ржавого небытия; нет, это не один город, а два, Йоханнесбург и Претория, переплетенные, будто двойная звезда. Сразу за обручем атмосферы караулит Солнце; в следующую минуту оно выяснит горизонт и затопит Землю светом, восход продлится считаные секунды, а потом всюду и одновременно засияет день. Центральная и Восточная Африка внезапно становятся яркими и горячими.

Если брать все три миссии, сегодня — четыреста тридцать четвертый день Романа в космосе. Он ведет подсчет старательно. Начался восемьдесят восьмой день его нынешнего полета. За девять месяцев на орбите космонавт тратит где-то пятьсот сорок часов на физические упражнения. Участвует примерно в пяти сотнях утренних и

дневных сеансов связи с американскими, европейскими и российскими коллегами из центров управления полетами. Четыре тысячи триста двадцать раз имеет возможность любоваться восходом, четыре тысячи триста двадцать раз имеет возможность любоваться закатом. Преодолевает расстояние почти в сто восемь миллионов миль. Проживает тридцать шесть вторников — сегодня, кстати, один из них. Пятьсот сорок раз проглатывает зубную пасту. Сменяет тридцать футболок, сто тридцать пять комплектов нижнего белья (чистый комплект каждый день — непозволительная роскошь, столько вещей негде хранить), пятьдесят четыре пары носков. Видит полярные сияния, ураганы, бури — их число неизвестно, а возникновение несомненно. Разумеется, наблюдает девять циклов Луны, их серебристой спутницы, которая проходит свои фазы спокойно, в то время как для членов экипажа дни утрачивают форму. Так или иначе, Луну они видят по несколько раз в сутки, иногда ее очертания странно искажаются.

Сегодня Роман добавит восемьдесят восьмой штрих к счету, который ведет на листке бумаги у себя в каюте. Не из желания ускорить ход времени, а ради того, чтобы связать его с чем-то

исчислимым. В противном случае — в противном случае нарушается его собственное равновесие. Космос разрывает время на куски. В ходе подготовки их инструктировали: делайте отметку каждый день после пробуждения, проговаривайте: *настало утро нового дня*. Будьте честны с собой в этом вопросе. Настало утро нового дня.

Так оно и есть, но за этот новый день они обогнут планету шестнадцать раз. Увидят шестнадцать восходов и шестнадцать закатов, шестнадцать дней и шестнадцать ночей. Ища устойчивое положение, Роман цепляется за поручень возле иллюминатора; звезды Южного полушария исчезают из виду. Вы привязаны к Всемирному координированному времени, говорят им коллеги с Земли. Это истина, никогда не ставьте ее под сомнение. Почаще смотрите на часы, давайте разуму якорь, твердите себе, когда просыпаетесь: настало утро нового дня.

Так оно и есть. Но это день пяти континентов, осени и весны, ледников и пустынь, дикой природы и зон военных действий. Пока они путешествуют вокруг Земли сквозь скопления света и тьмы, предаются сложной арифметике силы тяги и положения в пространстве, скорости и датчиков, щелчок кнута, возвещающий о наступлении

нового утра, раздается каждые полтора часа. Им нравятся дни, когда быстро отцветающая заря по ту сторону иллюминатора совпадает с началом их собственного дня.

В эту последнюю минуту темноты Луна почти полная и висит низко над пылающим кольцом атмосферы. Ночь будто не подозревает, что ее вот-вот сменит день. Роман представляет, как через несколько месяцев выглянет дома в окно спальни, отодвинет композицию засушенных женой цветов с неведомыми ему названиями, с усилием отворит запотевшее заклиненное окно, вдохнет московский воздух и уставится на Луну, точно на сувенир, который привез из отпуска в экзотических краях. Мгновение спустя вид со станции на Луну, притаившуюся сразу за атмосферой — не над ними, а на той же высоте, как равная рядом с равными, — заслоняет все, и мысль о доме и спальне улетучивается.

Когда Шону было пятнадцать, в школе им рассказывали о «Менинах». Речь шла о том, как картина дезориентирует зрителя и ему остается только гадать, на что именно он смотрит.

Это картина внутри картины, сказал учитель, приглядитесь внимательно. Смотрите сюда. Веласкес, ее автор, сам присутствует на своем

полотне — вот он, за мольбертом, пишет картину, вернее, короля и королеву, но они находятся за пределами картины, там же, где и мы; они взирают на происходящее, и лишь их отражение в зеркале, расположенном в центре композиции, позволяет нам узнать, что они тоже здесь. Как и мы, король с королевой следят глазами за своей дочерью и ее фрейлинами, в честь которых и названо полотно — Las Meninas, «Фрейлины» по-испански. Кто же в действительности является главным персонажем этой картины — король и королева (чей парный портрет пишет художник и чьи белые отраженные лица, хоть и маленькие, видны посередине на заднем плане), их дочь (настоящая звезда в центре композиции, такая яркая и светлая на фоне окружающего полумрака), ее фрейлины (а также карлики и придворные из ее свиты и еще пес), человек в дверях, который, кажется, несет какое-то послание, Веласкес (чье присутствие на картине неоспоримо — это художник, стоящий за мольбертом и пишущий то ли портрет королевской четы, то ли собственно картину «Менины») или мы, зрители, ведь мы занимаем ту же позицию, что и король с королевой, тоже взираем на происходящее, и в ответ на нас взирают и Веласкес, и инфанта, и зеркаль-

ные отражения короля и королевы? А может, главным героем является искусство как таковое (которое представляет собой набор иллюзий, уловок и хитростей в рамках жизни) или жизнь как таковая (которая представляет собой набор иллюзий, уловок и хитростей в рамках сознания, стремящегося постичь бытие через ощущения, мечты и искусство)?

А может, добавил учитель, это просто картина ни о чем? Всего лишь изображение нескольких человек в комнате и зеркала на ее стене?

Шон, который в пятнадцать лет не интересовался живописью и уже знал, что хочет стать летчиком-истребителем, воспринял этот урок как образчик бесполезности. Картина ему не особенно понравилась, да и вопрос, что на ней представлено, не пробудил у него любопытства. Пожалуй, и вправду всего лишь комната, люди и зеркало на стене, но Шону даже не захотелось поднимать руку, чтобы высказать мнение вслух. Сперва он выводил в блокноте геометрические рисунки, затем изобразил человека на виселице. Девушка, сидевшая рядом с Шоном, увидела эти каракули, подтолкнула его, приподняла брови и украдкой улыбнулась, а много лет спустя, выйдя за него замуж, подарила ему открытку с репро-

дукцией картины «Менины», которые считала символом начала их общения. И когда спустя еще несколько лет он был в России, готовился к полету в космос, на обратной стороне этой открытки жена убористым почерком кратко изложила то, о чем говорил учитель на уроке, — сам Шон, разумеется, все давно позабыл, зато жена помнила ясно, и это нисколько не удивило его, ведь она была самым умным и проницательным человеком, которого он знал.

Открытка хранится у него в каюте. Проснувшись нынче утром, Шон всматривается в репродукцию, изучает все возможные сюжеты и перспективы, которые жена перечислила на обороте. Король, королева, фрейлины, девочка, зеркало, художник. Шон не сразу осознает, что его взгляд прикован к открытке. Ему чудится, будто он не досмотрел сон, в голове роятся беспорядочные мысли. Шон выбирается из спального мешка, надевает беговую форму и, направляясь к пищеблоку за кофе, видит в иллюминаторе ни на что другое не похожую северную оконечность Омана, вдающуюся в Персидский залив. Над темно-синим Аравийским морем плывут пылевые облака, вот огромное устье Инда, а вон там Карачи, — невидимый сейчас, при свете дня, ночью

город превращается в сложную сеть штрихов, навевающую Шону воспоминания о геометрических рисунках школьных лет.

По произвольно выбранному временному измерению, которое принято здесь, где времени как такового не существует, сейчас шесть утра. Остальные встают.

Глядя вниз, члены экипажа понимают, почему планету называют матерью-Землей. Все они подчас испытывают это же ощущение, проводят параллель между Землей и матерью, что, в свою очередь, заставляет их чувствовать себя детьми. В чисто выбритом андрогинном покачивании, в шортах утвержденного образца и вязкой еде, в соке, который пьют через соломинку, в праздничной гирлянде, в ранних отходах ко сну, в вынужденной невинности подчиненных долгу дней — все они здесь, наверху, вдруг забывают, что являются астронавтами, и возвращаются в детство, становятся маленькими, беспомощными. Величественная родительница непрерывно наблюдает за ними с той стороны стеклянного купола.

В последние дни это чувствуется как никогда остро. В пятницу вечером Тиэ приплыла в российский сегмент станции, где ее коллеги готовили

ужин, и с бесцветным от потрясения лицом проговорила, моя мать умерла. Шон выпустил из рук пакетик лапши, и тот закачался над столом; Пьетро переместился на три фута, склонил голову и взял руки Тиэ в свои настолько плавным движением, что оно выглядело отрепетированным; Нелл же неразборчиво забормотала — что? как? когда? *что?* — и увидела, как бледное лицо Тиэ вдруг покраснело, будто произнесение этих слов усилило ее горе.

Начиная с момента, когда услышали эту трагическую новость, члены экипажа то и дело ловят себя на том, что смотрят вниз на Землю, которую облетают (траектория кажется извилистой, что, впрочем, не так и далеко от истины), а в голове на разные лады повторяется одно и то же слово — «мать». Отныне этот крутящийся сияющий шар, который за год невольно совершает оборот вокруг Солнца, — единственный родитель Тиэ. Она осталась сиротой: ее отец умер десять лет назад. Только про этот шар Тиэ теперь и может сказать, что он подарил ей жизнь. Без него жизни нет. Без этой планеты жизни нет. О чем тут еще рассуждать.

Придумай что-нибудь новое, периодически велит каждый из них самому себе. Мысли, которые

приходят в голову на орбите, слишком помпезны и стары. Придумай что-нибудь новое, абсолютно свежее, такое, чего еще никогда не было.

Однако новых мыслей нет. Есть лишь старые мысли, рожденные в новые мгновения, например, такая: без Земли нам всем конец. Без ее милости нам не прожить и секунды, мы — моряки в водах опасного темного моря, без нашего корабля-Земли мы утонем.

Никто из них не знает, что сказать Тиэ, какое утешение предложить тому, кто переживает шок от тяжелой утраты, находясь в космосе. Разумеется, ты хочешь вернуться домой и проводить близкого человека в последний путь. Слова не нужны; взгляни в иллюминатор, и ты увидишь, как сияние удваивается, учетверяется. Отсюда Земля похожа на рай. Она струится цветом. Слепит обнадеживающим цветом. С Земли люди смотрят вверх и думают, что рай где-то в другом месте, а вот астронавты и космонавты подчас говорят себе: возможно, все мы, рожденные на Земле, уже умерли и находимся в загробном мире. Если после смерти нам предстоит отправиться в невероятное, с трудом воображаемое место, им вполне может оказаться этот блестящий далекий шар с его чудесными одинокими

световыми шоу.

С витка 1 на виток 2

Теперь уже не вы те люди, которые находятся дальше всех от поверхности Земли, сообщают из центра. Что вы думаете по этому поводу?

Сегодня экипаж из четырех человек стартовал к Луне и только что преодолел скромную орбитальную высоту космической станции в двести пятьдесят миль над планетой. Лунные астронавты проносятся мимо них в сиянии славы, щеголяя нарядами и суперкрутым кораблем общей стоимостью пять миллиардов долларов.

В кои-то веки вас кто-то обставил, говорят коллеги с Земли. Вы — вчерашние новости, шутят они, а Пьетро в ответ шутит, что вчерашние новости приятнее завтрашних — если они понимают, о чем он. Астронавты и космонавты предпочитают вообще не становиться героями новостей. Кроме того, думает молчащая Тиэ, там, внизу, на Земле, ее мать. Там, внизу, — все, что осталось от ее матери. Тиэ лучше побудет еще какое-то время здесь, на этом аркане, обвивающемся вокруг Земли, чем увидит, как та просто исчезнет в зеркале заднего вида. Антон тоже молчит и смотрит через

панорамный иллюминатор туда, где, как ему известно, находятся созвездия Пегаса и Андромеды, хотя невооруженным глазом он не может различить их среди миллионов других звезд. Он устал. Здесь, наверху, плохо спится, непрерывная смена часовых поясов сбивает разум с толку. Вот Сатурн, а вон там Орел, очертаниями напоминающий самолет. До Луны рукой подать. Однажды я доберусь туда, обещает он себе.

Утро, прилив пота, дыхания и напряжения, силовой тренажер, велоэргометр и беговая дорожка. Два часа в день их тела не парят, а подчиняются искусственной силе тяжести. В российском сегменте станции Антон стряхивает с себя остатки сна на велотренажере, Роман — на беговой дорожке. В трех модулях отсюда, в нероссийском сегменте, Нелл на скамье поднимает штангу и наблюдает, как сокращаются ее мышцы под лоснящейся от пота кожей, в то время как поршни и маховик имитируют гравитацию. Стройные, крепкие руки и ноги Нелл утратили четкость очертаний, — как бы усердно ты ни упражнялась эти два часа на тренажерах, в оставшиеся двадцать два часа каждого дня на тело не действует сила, которой оно могло бы противостоять. Рядом с Нелл пристегнутый к американской беговой

дорожке Пьетро с закрытыми глазами слушает Дюка Эллингтона и мысленно переносится в дикие мятные поля Эмилии-Романьи. Тиэ в соседнем модуле занимается на велоэргометре: ее зубы стиснуты, уровень сопротивления педалей максимальный, Тиэ отсчитывает такт их вращения.

Здесь, в условиях микрогравитации, человек подобен морской птице в теплый день. Эта птица парит в небе, просто парит и ничего более. Какой прок от бицепсов, икр, прочных костей голени? Какой прок от мышечной массы? Ноги — реалия прошлой жизни. И все же им шестерым необходимо ежедневно бороться с желанием рассыпаться. Они прячутся в наушниках, тягают штангу, едут к несуществующей цели со скоростью, в двадцать три раза превышающей скорость звука, на велосипеде, у которого нет ни сиденья, ни руля, а есть лишь набор педалей, прикрепленных к ручкам в стене, и пробегают по восемь миль, не покидая гладкого металлического модуля, из иллюминатора которого крупным планом видна вращающаяся планета.

Иногда они скучают по холодному сильному ветру, порывистому дождю, осенней листве, покрасневшим пальцам, грязным ногам, любопытной собаке, испуганному кролику, внезапно

выпрыгивающему оленю, луже в выбоине, мокрым ногам, небольшому холму, товарищу по бегу, солнечному лучу. Иногда просто поддаются спокойному безветренному гудению закупоренного космического корабля. Пока они бегут, колесят, толкают и жмут, внизу проносятся континенты и океаны — Арктика бледно лиловеет, восточная оконечность России остается позади, штормы над Тихим океаном усиливаются, пустыни Чада перемежаются складками гор, а вот уже показывается юг России, Монголия и снова Тихий океан.

Любой житель Монголии, или восточной российской глубинки, да вообще любой человек, интересующийся космическими исследованиями, знает, что сейчас в холодном полуденном небе, выше всех самолетов, пролетает корабль и что женщина-астронавт на его борту делает жим ногами, не желая, чтобы мышцы поддавались соблазну невесомости, а кости обретали птичью легкость. В противном случае у бедняжки начнутся неприятности, едва она вернется на Землю, где ноги снова будут иметь большое значение. Если сейчас не лить пот в три ручья, она едва ли переживет падение сквозь поток палящего жара при входе обратно в атмосферу и сложится, как бумажный журавлик, когда ее вытащат из

капсулы.

В определенный момент пребывания на орбите у каждого из членов экипажа возникает острое желание никогда не покидать ее. Счастье ставит на них капканы, застигает повсюду; его источником становятся самые тривиальные объекты — экспериментальная платформа, пакетик с ризотто и куриной котлетой, панели с экранами, выключатели и вентиляционные отверстия, даже само их узилище из титана, кевлара и стальных труб, даже полы, они же стены, даже стены, они же потолки, даже потолки, они же полы. Опоры для рук, они же подставки для стоп, натирающие пальцы ног. Скафандры, которые дожидаются их в шлюзовых камерах и выглядят немного жутковато. Все, свидетельствующее о том, что они находятся в космосе, — то есть абсолютно каждый предмет вокруг — превращается в капкан счастья, и дело не столько в том, что они не хотят домой, сколько в том, что само их представление о доме изменилось — оно до того разрослось, раздулось, расширилось и разбухло, что просело под собственным весом.

В первые дни на орбите они тоскуют по родным, иногда так отчаянно, что, кажется, тоска выскабливает внутренности; затем волей-нево-

лей осознают, что сейчас их семья — вот эти люди рядом, эти другие на борту корабля, которые знают то же, что знают они, видят то же, что видят они, и им не требуется никаких объяснений. С чего вообще они начнут дома рассказ о том, что с ними происходило, о том, кем и чем они были? Им не нужно никакого другого вида из окна, кроме того, который открывается из иллюминаторов станции на сужающиеся в пустоту солнечные батареи. Никакие заклепки в мире не заменят этих заклепок вокруг иллюминаторов. Пусть всю жизнь они ступают только по поверхностям со смягчающей подкладкой. И пусть не умолкает этот непрерывный гул.

Космос пытается стереть из их памяти представление о том, что такое день. Он спрашивает у них, что это, они уверенно отвечают: день — это двадцать четыре часа, вот и коллеги с Земли твердят им о том же, но космос отнимает у них эти двадцать четыре часа, швыряя взамен шестнадцать дней и ночей. Они цепляются за свои двадцать четыре часа в сутках, потому что их маленькие, слабые тела не знают ничего другого и привязаны ко времени режимом сна и бодрствования, активности кишечника и прочих биологических функций. Однако их разум

освобождается в течение первой недели. Перемещается в сферу иррационального, где не важна смена дня и ночи, и покачивается на шатком горизонте Земли. День едва успевает начаться, а уже близится ночь, подобная тени облака, проплывающей над пшеничным полем. Наступающий спустя сорок пять минут новый день мчится через Тихий океан. Они и вообразить не могли, что это выглядит вот так.

Сейчас они следуют на юг от восточной части России по диагонали через Охотское море, и их взорам предстает Япония в серовато-мальвовом полуденном блеске. Маршрут проходит над узкой грядой Курильских островов, которая вытягивается проторенной дорогой между Японией и Россией. В этом смутном свете острова кажутся Тиэ цепочкой высыхающих следов. Ее страна — бредущий по воде призрак. Ее страна — когда-то виденный сон. Она лежит наискось и выглядит грациозно.

Вытираясь полотенцем после тренировки, Тиэ смотрит в иллюминатор лаборатории и мерно покачивается вверх-вниз. Поселись она на орбите до конца своей жизни, все было бы хорошо. Тиэ могла бы считать, что мать умрет только после ее возвращения на Землю. На ум приходит игра

«Горячие стулья»: стульев непременно на один меньше, чем игроков, но пока музыка звучит, все продолжают участвовать, а цифры ничего не значат. Ты не должна останавливаться. Ты должна все время двигаться. У тебя есть эта роскошная орбита, и, пока ты вращаешься по ней, никто и ничто не причинит тебе зла. Пока планета несется галопом сквозь космос, а ты с опьяненным временем мозгом несешься за ней сквозь свет и тьму, ничто не заканчивается. Никакого конца нет и быть не может, есть только круги.

Не возвращайся. Оставайся здесь навсегда. Кремовый свет над океаном так изыскан, облака, колеблющиеся во время прилива, так нежны. В зум-объектив попадает первый снег на вершине горы Фудзи, затем серебряная цепочка реки Нагара, где ты плавала в детстве. Оставайся здесь, где идеальные батареи жадно пьют солнечный свет.

С орбиты человечество представляется ночным созданием. Человечество — это иллюминация городов и светящиеся нити дорог. Днем оно становится невидимкой и его попросту не разглядеть.

Если во время этого витка, второго из сегодняшних шестнадцати, отыщется свободная минутка и они посмотрят в иллюминатор, им едва ли удастся заметить признаки жизни людей или

животных.

С приходом очередного утра маршрут приближается к Западной Африке. День выплескивается мощным потоком, стирая все видимые невооруженным глазом приметы человеческого существования. Они пролетают над Центральной Африкой, Кавказом и Каспийским морем, югом России, Монголией, востоком Китая и севером Японии в ослепительно-белом свете. К тому времени, когда в западной части Тихого океана наступает ночь, уже не видно ни стран, ни городов, которые намекали бы на присутствие человека. На этом витке вся ночь бездонно-черная, космический корабль крадется вдоль срединной линии Тихого океана между Новой Зеландией и Южной Америкой, задевает оконечность Патагонии, скользит обратно вверх в сторону Африки, и в тот миг, когда океан остается позади, а в поле зрения неторопливо вплывают побережья Либерии, Ганы и Сьерра-Леоне, рассвет вспарывает темноту, день затапливает пространство, все Северное полушарие снова сияет и делается безлюдным. Моря, озера, равнины, пустыни, горы, устья, дельты, леса и льдины.

Совершая виток за витком, время от времени они воображают себя межгалактическими

путешественниками, исследующими новые планеты. *На вид необитаемая, командир,* говорят они, глядя в иллюминаторы перед завтраком. *Не исключено, что там сохранились следы исчезнувшей цивилизации. Готовьте двигатели к посадке.*

Виток 3, движение вверх

Почему космический корабль нельзя декорировать, как старый фермерский дом? — рассуждает Пьетро за завтраком. Наклеить обои в цветочек, протянуть дубовые балки — искусственные, разумеется. Легкие и негорючие. Плюс вытертые кресла и еще что-нибудь в этом духе. Как в старом итальянском фермерском доме. Или в английском.

Все смотрят на англичанку Нелл, но та лишь пожимает плечами и помешивает ложечкой сироп в пакетике с перловой кашей из российских продуктовых запасов, которой ее угостили Роман с Антоном.

А лучше как в старом японском доме, говорит Тиэ. Барахла меньше, простора больше.

Отличная мысль, подхватывает Шон, парящий над ними, словно ангел. Он указывает чайной ложкой на Тиэ, точно ему в голову пришла какая-то идея. В Хиросиме мне довелось пожить в потрясающем японском доме, рассказывает он. Это был отель типа «ночлег и завтрак», а управляли им американские христиане.

Вы, американские христиане, просочились повсюду, комментирует Тиэ, подцепляя палочками ломтик лосося.

Ага, мы вас везде настигнем, даже в космосе.

Ничего, скоро мы от вас — то есть от тебя — избавимся, встревает Роман.

Но потом вы вернетесь на Землю, а уж там-то мы вам нигде проходу не дадим, парирует Шон. Он оглядывается и кивает. Пожалуй, мне бы понравилось, если бы тут все было оформлено в стиле старого японского дома.

Пьетро доедает кукурузные хлопья и прикрепляет ложку к намагниченному подносу. Знаете, по чему я скучаю сильнее всего? — спрашивает он и тотчас отвечает сам, по вещам, которые мне не нужны, вот по чему. По бесполезностям вроде аляповатого украшения на полке или коврика.

Роман смеется, то есть ты тоскуешь не по выпивке или сексу, а по коврику?

Я не сказал, чем занялся бы на этом коврике.

Не сказал, подтверждает Антон. Пусть это и дальше останется тайной.

Чем бы ты занялся? — тотчас любопытствует Нелл.

Тиэ подмигивает, да, Пьетро, расскажи, чем?

Лежал бы там, отвечает Пьетро. И смотрел сны

о космосе.

День обрушивается на них ураганным огнем.

Пьетро наблюдает за микробами, которые позволяют получить более полное представление о вирусах, грибках и бактериях на орбитальной станции. Тиэ продолжает выращивать белковые кристаллы и в отведенный срок подключается к аппарату МРТ, чтобы пройти очередное сканирование мозга и документировать влияние микрогравитации на работу нейронов. Шон анализирует состояние кресс-салата — выясняет, что происходит с корнями растений, если гравитация и свет не командуют им, когда и как они должны развиваться. Тиэ и Нелл осматривают сорок проживающих на станции мышек, взвешивают их и фиксируют данные о том, как атрофируются мышцы в космосе. Позже Шон и Нелл проведут эксперименты по изучению воспламеняемости различных материалов. Роман и Антон займутся обслуживанием российского кислородного генератора и культивацией клеток сердца. Антон польет капусту и карликовую пшеницу. Каждый из шестерых запишет, испытывает ли головную боль, и если да, то насколько она острая и где локализуется. В какой-то момент они дружно возьмут фотоаппараты, прильнут к панорамным иллю-

минаторам и запечатлеют все объекты согласно полученному с Земли списку, уделив пристальное внимание тем из них, которые представляют особый интерес. Кроме того, они заменят детекторы дыма, опорожнят дополнительный резервуар для воды во втором слоте и поставят новый в третьем слоте системы хранения воды, наведут порядок в санузле и пищеблоке, починят туалет, который вечно ломается. Все эти действия, из которых складывается их день, обозначаются английскими аббревиатурами: MOP, MPC, PGP, RR, MRI, CEO, OESI, WRT-WSS, T-T-A-B.

Сегодня в списке объектов особого интереса на первом месте стоит тайфун, скользящий над западной частью Тихого океана в направлении Индонезии и Филиппин. Судя по всему, этот тайфун внезапно начал набирать силу. С орбиты его пока не видно, но уже через два витка они переместятся на запад и догонят его. Коллеги просят их сделать фотографии и видеозаписи, подтвердить спутниковые снимки, оценить величину воздушных масс и скорость их движения. К этим заданиям они давно привыкли, ведь они — все равно что метеорологи, своего рода системы раннего предупреждения. Они отмечают орбитальные витки, на которых их с тайфуном

пути пересекутся, — четвертый виток нынче утром, пятый и шестой в южном направлении, а еще тринадцатый и четырнадцатый вечером в северном направлении. Впрочем, к тому времени они уже будут спать.

Утром Нелл получила от брата имейл, в котором тот сообщал, что сильно простудился, и она вдруг с удивлением осознала, что уже и не помнит, когда в последний раз болела, — в космосе ее организм снова помолодел, она не чувствует никаких болей, если не считать космических мигреней, которые, впрочем, она, в отличие от остальных, испытывает крайне редко. Вероятно, причина состоит в том, что здесь ты не ощущаешь собственного веса, не нагружаешь суставы, да и ум, если разобраться, тоже, поскольку возможности выбора сведены к нулю. Каждый твой день расписан поминутно, ты выполняешь то, что тебе велят, ложишься спать рано и, как правило, уставшей, встаешь тоже рано и начинаешь все заново, и единственное решение, которое тебе нужно принять, касается выбора еды, хотя и он весьма ограничен.

Брат полушутя написал, что ненавидит болеть в одиночестве и даже немного завидует Нелл, ведь рядом с ней постоянно находится пять чело-

век, твоя парящая семья, как он выразился, — а это, должно быть, очень приятно. Здесь, наверху, слово «приятно» звучит неуместно, мысленно ответила ему Нелл. Жизнь здесь жестока, антигуманна, поразительна, одинока, необычна и великолепна. Ничего приятного нет и в помине. Нелл хотела передать это словами, но у нее возникло ощущение, будто она что-то доказывает, превозносит себя или опровергает сказанное братом, и потому она ограничилась тем, что пожелала ему выздоровления и прикрепила к письму три снимка — на одном была панорама устья Северна на рассвете, на другом — Луна, а на третьем — Тиэ с Антоном возле иллюминатора. Нелл часто замечает, что ей сложно найти темы для общения с близкими, которые сейчас дома, — мелочи слишком банальны, прочее слишком ошеломительно, и между этими двумя крайностями пролегает пустота. Никаких пересудов, никаких «а он такой и говорит… а она ему такая и отвечает…», никаких взлетов и падений — только бесконечное вращение по кругу. Они до сих пор диву даются, как такое возможно — двигаться с безумной скоростью и никуда не прибывать.

Странно получается, рассуждает Нелл. Твои мечты о приключениях, свободе и открытиях

кристаллизуются в желание стать астронавтом, а потом ты попадаешь сюда и оказываешься в ловушке, день за днем что-то распаковываешь и упаковываешь, ковыряешься в лаборатории с проростками гороха и хлопка, кружишь как заведенная, и вместе с тобой кружат твои однообразные мысли.

Но она не жалуется. Боже, нет, она совершенно не жалуется.

На борту действует негласное правило: будьте тактичны друг с другом. Места для уединения тут практически нет, месяцами они живут бок о бок, каждый вынужден дышать воздухом, который другие уже успели вдохнуть и выдохнуть несчетное количество раз. Они стремятся не переходить Рубикон, за которым начинается личное пространство другого.

В идее *парящей* семьи, пожалуй, что-то есть, но в то же время они вообще ничем не напоминают семью, поскольку являются и чем-то гораздо большим, и чем-то гораздо меньшим. На эти несколько коротких месяцев в космосе они становятся друг для друга всем, потому что кроме них тут, наверху, никого нет. Они товарищи, коллеги, наставники, врачи, стоматологи, парикмахеры. Во время выходов в открытый космос, при за-

пуске капсулы, при возвращении в атмосферу и в чрезвычайных ситуациях каждый из них — спасательный круг для другого. Кроме того, в глазах друг друга они являются представителями всего рода людского, каждый олицетворяет собой более миллиарда человек. Еще им приходится обходиться без всего земного — семей, питомцев, погоды, секса, воды, деревьев. Без прогулок. Иногда им хочется просто прогуляться, просто прилечь. Когда их одолевает тоска по людям или вещам, когда Земля кажется такой далекой, что они грустят дни напролет и даже вид заката над Арктикой не способен поднять им настроение, они должны заглянуть в глаза кому-нибудь из коллег на борту и отыскать там то, что поможет прийти в себя. Какое-нибудь утешение. Хотя не всегда. Вероятно, периодически Нелл вперяется взглядом в Шона и злится на него лишь за то, что он женат не на ней. Или Антон просыпается недовольный тем, что ни один из этих людей не является его дочерью, сыном, кем-то или чем-то дорогим ему. Так оно и происходит, а на другой день они смотрят в лицо одного из этих пяти человек, и там, в его улыбке, манере сосредоточиваться или есть, отражаются все и каждый, кого они когда-либо любили, все вместе, вот они

тут, и человечество, сущность которого ограничивается сейчас этой группкой людей, перестает восприниматься как некий отдаленный вид с необъяснимыми отличиями, а становится чем-то близким и постижимым.

Они уже не раз обсуждали чувство слияния, которое испытывают здесь. Ощущение, будто они не могут отделить себя друг от друга и от корабля. Кем бы они ни были до прилета сюда, каковы бы ни были различия в их обучении, биографии, мотивах и характере, в какой бы стране они ни родились и насколько велики бы ни были конфликты между их нациями, хрупкая мощь космического корабля уравнивает всех. Они задают ритм движению и работе станции, кружащейся в идеально выверенном танце вокруг планеты. Антон — тихий, со сдержанным чувством юмора, сентиментальный, не стесняющийся слез во время просмотра кино и особенно во время любования видами, открывающимися из иллюминаторов, — сердце корабля. Пьетро — его рассудок, Роман (действующий командир, человек сведущий и умелый, может починить что угодно, управляет роботизированной рукой-манипулятором с миллиметровой точностью, играючи собирает и ремонтирует сложнейшие

электронные устройства) — руки, Шон — душа (по общему мнению, Шон находится здесь, чтобы убедить их всех, что у них есть души), Тиэ (методичная, справедливая, мудрая и немного загадочная) — совесть, Нелл (с ее восьмилитровыми легкими ныряльщицы) — его дыхание.

Проходит какое-то время, и они дружно признают эту метафору идиотской. Бессмысленной. Тем не менее совсем выкинуть ее из головы не могут. Есть в стремительном вращении по низкой околоземной орбите что-то, что навевает им подобные ассоциации и побуждает относиться к экипажу как к единому целому, живой полноценной частью которого является этот огромный корабль. Прежде они полагали, что их будут пугать сам факт пребывания внутри сложной машины жизнеобеспечения и риск, что в случае отказа любой ее части им не уцелеть. Пожар, утечка топлива, радиация, столкновение с метеоритом — и все, экипажу конец. Находясь здесь, они продолжают испытывать те же страхи, но случается такое нечасто, и потом, все существа на свете живут в машинах жизнеобеспечения, привычно именуемых телами, и рано или поздно каждая из них выйдет из строя. К тому же, хотя движение их неповторимой машины сопряжено

со множеством рисков, оно ограничено орбитой, а здесь неожиданностей раз-два и обчелся, все непредвиденное предвидено, наблюдение ведется круглосуточно, ремонт осуществляется тщательно, страховка продумана до мелочей, на всех поверхностях мягкая обивка, острых предметов мало, не обо что споткнуться, ничто не упадет. Словом, тут совсем не так, как на Земле, где свобода сопряжена со всевозможными угрозами, ведь человек перемещается по планете, как ему вздумается, никто за ним не следит, зато всюду подстерегают углы и края, высоты и дороги, оружие и комары, а еще инфекции, разломы ледников и хаотические перемещения восьми миллионов видов, борющихся за выживание.

Иногда им представляется, что они наглухо заперты в подводной лодке, которая в одиночестве рассекает глубины безвоздушного пространства, и тогда они начинают бояться, что, как только настанет время покинуть ее пределы, они почувствуют себя куда менее уверенно, чем теперь. Вернутся на Землю чужаками. Инопланетянами, которым предстоит найти себе место в безумном новом мире.

Виток 3, движение вниз

Представь себе дом. Деревянный дом на японском острове, стоящий невдалеке от берега. Дом с раздвижными бумажными дверями, выходящими в сад, и полом, устланным выгоревшими и вытертыми татами. Представь себе бабочку на кране кухонной раковины, стрекозу на сложенном футоне, паука, забравшегося в тапочку на веранде.

Представь себе старый деревянный дом с гладкими обветрившимися стенами. Влажность, жара и снег истрепали его, да и землетрясения не добавили устойчивости. Далее представь себе молодых мужчину и женщину, работающих в огороде у дома и ощущающих, как надвигается свинцовая тяжесть августовского неба. Тыквы растут хорошо, их много, каждая величиной с полную летнюю луну. Тишину нарушает только шум прибоя. Хотя нет, еще можно услышать сверчков, цикад, лягушек-быков, шорох, с которым женщина выпалывает сорняки, и протяжное «фу-у-ух», которое издает мужчина, когда ставит лопату и делает передышку.

Проследи смену времен года на протяжении многих лет, и вот уже мужчина втискивает свое скрипучее тощее тело в штаны и удивляется, как так вышло, что он постарел куда раньше жены, которая по-прежнему энергична и, кажется, не ходит, а порхает. Мужчина с трудом выделяет слюну, никто не говорил ему, что его кожа, рот и глаза так высохнут к старости, а уж с носом и вовсе беда — сморкаться стало нечем (но он все равно постоянно шмыгает им). Да уж, к усыханию его организм подготовился скверно. Кто-то сравнил бы его с осенним листком, однако такой листок падает с ветки и не возвращается, а он к этому пока не стремится. На рассвете он часто выходит к плотине, где оглушительно квакают лягушки-быки, и впивается пальцами ног во влажную землю.

Промотай вперед еще на шесть месяцев, и мужчины уже нет в живых. Женщина осталась одна. Проходят годы, десять лет, настает мягкая осень, на широко раскинувшихся стеблях золотятся последние тыквы. Плесень на черенках, на раме входной двери и на ступеньках; утренняя сырость на бумажных перегородках. Сейчас по вечерам небо красивое как никогда. Женщина лежит на узкой ступеньке, тоже узкая, будто ручка метлы

— так она сама считает. Вокруг нее сплошная древесина, рядом нет ни одной живой души, потому-то она и обернулась деревом, чтобы не выделяться на общем фоне.

Бывает, люди чувствуют, что настал последний день их жизни, и прежде она никогда не лежала бы вечером на лестнице своего дома, словно бросая миру запоздалый вызов — дескать, вот такая я старая крепкая метла, поглядите-ка. Тратить время на ерунду не в ее привычках. Но кровь в жилах течет медленнее, и все в теле постепенно замедляется. Предыдущие несколько недель женщина чувствовала себя плохо. Смотрела на движущуюся точку света в небе, которая после смерти ее мужа совершила почти шестьдесят тысяч оборотов вокруг Земли, и уговаривала себя подождать еще месяц до возвращения дочери. Но разве смерть дает кому-нибудь отсрочку? И вообще при чем тут дочкино возвращение? Умереть в день ее приземления. Руки и ноги внезапно теплеют, будто сердце пытается отогнать кровь как можно дальше от себя. Дай мне отдохнуть, говорит сердце. Она слышит цикаду, никогда раньше цикады не стрекотали в середине осени, но сейчас круглый год так тепло, что они не знают, когда пора умирать. Судя по

звуку, стрекочет одинокий заждавшийся самец, и женщина ловит себя на мысли, что, если бы она сама пролежала в земле пятнадцать лет, ожидая своей очереди спариться, возможно, тоже проявила бы долготерпение. Впрочем, теперь он уже поет не потому, что хочет продолжить свой род, а из-за одиночества, *избавь меня от страданий*, только эта мольба и разливается по сумеречному безмолвию.

Прокрути вперед на один, два, три, четыре дня, и вот уже тело убрали со ступенек, а дом опустел. В тусклом свете вечернего неба, где сейчас находится дочь этой женщины, Азия ускользает из виду за правый борт. Проносятся Сикоку и Кюсю, в поле зрения остается один лишь океан, тот же самый океан, воды которого набрасываются на берег возле деревянного дома и подбираются все ближе к огороду, где понемногу размякают тыквы. Азия скрывается за кормой, и теперь не видно ничего, кроме глубокой впадины Тихого океана, а корабль следует дальше на юго-восток, в сторону тысяч пустых сверкающих миль.

Там, в пустоте, собирается с силами тайфун. Последние двадцать четыре часа он смещался на запад и уже миновал Маршалловы острова, этот хрупкий узор тонущих клочков земли, та-

ких разъединенных и измученных непогодой. Облака подтягиваются со всех концов небосвода, плотнеют и темнеют; шторм не один, их сразу несколько, и из космоса уже видно, что эта встреча вертящихся волчком и поигрывающих мускулами туч способна перерасти в тайфун четвертой категории.

Сделайте как можно больше снимков, велят коллеги с Земли, и члены экипажа выполняют это распоряжение. Линзы телескопических объективов прижимаются к стеклу иллюминаторов, затворы щелкают, в поле видимости справа по борту пока попадает только восточный край шторма, серые клочья закручиваются воронками. Взорам астронавтов и космонавтов открывается то, чего не разглядеть с поверхности Земли: облака вращаются против часовой стрелки, словно подстегиваемые звуками сумбурного марша. Солнечный свет отражается от молочного покрова облаков, и планета переливается жутковатым жемчужным блеском, точно глаз, затянутый катарактой. Кажется, она не сводит с них тревожного взгляда.

Земля словно затаила дыхание и внимательно наблюдает за происходящим. Члены экипажа сходятся во мнении, что сегодняшний тайфун не

относится к числу тех, которые бессистемно обрушиваются на эту часть света. Целиком они его не видят, но он явно масштабнее, чем прогнозировалось, да и движется быстрее. Они отсылают снимки, указывают координаты. Сейчас они скорее напоминают себе гадалок, нежели команду космической станции. Гадалок, которые могут предвидеть будущее, но не способны его изменить или предотвратить. Вскоре корабль возьмет курс на юго-восток, и как бы они ни крутили головами, прильнув к панорамным иллюминаторам, тайфун исчезнет из поля зрения, их вахта вынужденно завершится и вокруг наступит темнота.

Виток 4, движение вверх

Никакой власти над тайфуном у них нет, есть только фотоаппараты и привилегия первыми взволнованно взирать на его нарастающую мощь. Они следят за его приближением.

Ранним утром четвертого за день околоземного витка пыль Сахары несется стокилометровыми лентами в направлении моря. Дымчатое бледно-зеленое мерцающее море, дымчатая оранжевая суша. Это Африка, сочащаяся светом, настолько звенящим, что его слышно на борту корабля. Обрывистые лучеобразные ущелья Гран-Канарии наслаиваются одно на другое, словно наспех возведенный замок из песка, и как только Атласские горы знаменуют окончание пустыни, появляется скопление облаков, формой напоминающее акулу, — ее хвост ударяет по южному побережью Испании, кончик спинного плавника задевает Южные Альпы, а морда готова в любую секунду нырнуть в Средиземное море. Дальше показываются бархатисто-мягкие горы Албании и Черногории.

Где проходят границы, размышляет Шон,

проплывая мимо иллюминатора. Он пытается определить местоположение стран — Черногории, Сербии, Венгрии, Румынии, — но никогда не может сказать наверняка, где что расположено. Он был бы рад целыми днями, да что там, все девять месяцев на орбите не расставаться с атласом «Рэнд Макнелли» и картой звездного неба. Не работать. Ничем не заниматься, просто смотреть. Шон мог бы вдоль и поперек изучать Землю из этой маленькой ниши на просторах космоса. Звезды нельзя постичь в полной мере, зато Землю можно постичь не менее обстоятельно, чем человека, — так же основательно и целеустремленно, как он постигал жену. Со страстью, ненасытной и эгоистичной. Ему хочется постичь всю Землю, каждый ее дюйм.

В условиях микрогравитации артерии утолщаются и затвердевают, а сердечная мышца слабеет и уменьшается. Наполняясь восторгом от созерцания космоса, их сердца одновременно увядают под его влиянием. Поврежденные или истощенные клетки обновляются с трудом, а потому, пока члены экипажа пытаются сохранить культивированные в чашках Петри сердечные клетки, их собственные нежные сердца становятся все слабее и жестче.

В этих чашках заключено человечество, говорит Антон Роману в российском лабораторном модуле. Вооружившись пипетками, они перемещают это человечество туда-сюда. Розово-фиолетово-красное скопление клеток когда-то было кожей людей — добровольцев, клетки кожи превратили в стволовые клетки, а те, в свою очередь, в клетки сердца. Образцы взяли у людей различных возрастов, происхождения и рас. Данное знание повергает Антона в тихое изумление, чего не скажешь о его коллеге, который, хотя и выполняет все положенные действия, относится к опытным образцам так же спокойно и без пиетета, как и, допустим, к электропроводке. У Антона эти клетки вызывают такой трепет, что во время работы с ними по его пальцам словно бежит тепло, даже жар. Все это многообразие живого, за которое он сейчас с волнением отвечает. Смотри, Ром, хочет он сказать. Тебе не кажется, что это абсурдное чудо? Все то, что здесь находится? Судя по лицу, Роман нисколько не волнуется, не трепещет от важности порученного им задания, не задумывается над высокими материями и говорит лишь, не знаю почему, но цвета в этих чашках всегда вызывают у меня голод. Момент проходит.

Роман и Антон наблюдают за клетками под микроскопом, фотографируют их и каждые пять дней обновляют среду, в которой они растут. В контейнере поддерживается температура в тридцать семь градусов Цельсия, процент углерода равен пяти, действует режим идеальной влажности и полной стерильности. Когда через две недели транспортный корабль полетит обратно на Землю, они отправят на нем эти клетки — груз, который, ничего не попишешь, более важен для человечества, чем их собственные жизни, имеющие в конечном счете не такое уж большое значение.

Приходится признать факт: все, что происходит с этими клетками в инкубаторе, по-видимому, происходит и с их собственными клетками.

Это, конечно, не особенно воодушевляет, говорит Роман.

Ну да, отзывается Антон и пожимает плечами. Роман тоже пожимает плечами, и этим парным движением они как бы напоминают друг другу о главном: в космос летают не за воодушевлением. Людьми движет стремление к большему, большему во всех отношениях — к большему знанию, к большему смирению. К скорости и неподвижности. К расстоянию и близости. К большему

меньшему, к большему большему. Очутившись здесь, люди осознают, что они малы, ничтожны, что их просто нет. Выращивают в пробирках клетки, различимые только под микроскопом, и знают, что до сих пор живы только благодаря таким же клеткам, из которых состоят их собственные хилые пульсирующие сердца.

Если говорить на языке цифр, за полгода в космосе они постареют на семь тысячных секунды меньше, чем любой житель Земли за это же время. В других аспектах они постареют на пять или десять лет больше, о чем им прекрасно известно. Они знают, что зрение может ослабнуть, а костная ткань — разрушиться. Сколько бы они ни занимались спортом, мышцы неизбежно атрофируются. Кровь свертывается сильнее, мозг меняет положение в черепной коробке. Позвоночник удлиняется, Т-клетки не могут нормально размножаться, в почках образуются камни. Еда здесь, наверху, кажется безвкусной. Носовые пазухи — чистое смертоубийство. Проприоцепция нарушена: если не смотреть, то и не угадаешь, где сейчас какая часть тела. Они превращаются в бесформенные мешки с жидкостью, которой слишком мало в верхней половине тела и недостаточно в нижней. Жидкость скапливается за

глазными яблоками, давит на зрительные нервы. Сон бунтует. В кишечном микробиоме возникают новые бактерии. Риск онкологии возрастает.

Это, конечно, не особенно воодушевляет, как говорит Роман.

Спустя некоторое время Антон интересуется, тревожит ли его такое положение вещей.

Нет, отвечает Роман. И никогда не тревожило. А тебя?

Под ними проплывает погруженная в непроглядную тьму южная часть Тихого океана. Кажется, там, внизу, разверзлась черная бездна и никакой планеты нет, есть лишь нежная зеленая линия атмосферы и бесчисленные звезды, все такое близкое и безграничное в этом поразительном одиночестве.

Нет, отвечает Антон. Никогда.

Глядя на Землю, временами они испытывают искушение стереть из памяти все, что принято считать правдой, и вместо этого поверить, что их родная планета есть средоточие мироздания. Она кажется такой живописной, такой величественной и царственной. Они готовы согласиться с мнением предков, что сам Господь разместил ее здесь, в центре вальсирующей Вселенной, готовы отринуть все истины, постигнутые людьми

(на ухабистом пути познания, где за открытием следует отрицание, за отрицанием — новое открытие и так далее) и констатирующие, что Земля есть ничтожное пятнышко посреди небытия. Обосновать это они могли бы так: ни один ничтожный объект не сияет столь же ярко, ни один заброшенный в космос незначительный спутник не стал бы утруждать себя тем, чтобы быть столь прекрасным, ни один немудрящий камень не породил бы ничего столь же сложного, как грибы или мозг.

Поэтому иногда их посещает мысль, что было бы проще отбросить гелиоцентрические столетия и вернуться во времена, когда считалось, что вокруг божественной огромной Земли вращается все сущее — Солнце, планеты, сама Вселенная. Потребовалось бы удалиться от Земли на куда большее расстояние, чем то, на котором они сейчас находятся, чтобы она предстала взорам маленькой и ничего не значащей и чтобы человечество наконец осознало свое место в космическом пространстве. И все же речь идет уже не о той царственной Земле прежних веков, не о богоданном комке, слишком плотном и величественном и потому не имеющем возможности передвигаться по бальному залу космоса; нет. Ее

красота отдается эхом — ее красота есть ее эхо, ее звенящая певучая легкость. Она не в центре, но и не на периферии; она — это не все и не ничто, однако кажется чем-то гораздо большим, чем что бы то ни было. Она из камня, но отсюда видится сотворенной из света и эфира верткой планетой, которая двигается сразу в трех направлениях — крутится вокруг своей оси, кренится относительно своей оси и оборачивается вокруг Солнца. Планетой, передвинутой из центра на край, — теперь считается, что вокруг нее ничего не вращается (за исключением бугорчатой спутницы Луны), зато сама она вращается вокруг других небесных тел. Она дарует приют нам, людям, протирающим объективы все более мощных телескопов, которые все точнее демонстрируют нам, насколько мы малы. И мы стоим разинув рты. Постепенно мы приходим к пониманию, что находимся не просто на обочине Вселенной: сама Вселенная состоит из сплошных обочин, у нее нет центра, есть только неизмеримое множество раскачивающихся в танце тел. Постепенно мы приходим к пониманию, что, вероятно, все наши знания возникают исключительно из ловко придуманного и непрестанно разрастающегося осознания собственной чужеродности, что с по-

мощью научных исследований мы все сильнее разрушаем человеческое эго, дожидаясь, когда оно превратится в полуразвалившееся здание, сквозь которое проникает свет.

Они плывут на средней высоте низкой околоземной орбиты, в промежуточном пространстве. Они думают: возможно, быть человеком трудно; возможно, в этом и состоит вся проблема. Возможно, трудно перейти от уверенности, что твоя планета безопасно расположена в центре мироздания, к осознанию, что в действительности она представляет собой всего лишь планету заурядной величины и массы, вращающуюся вокруг совершенно заурядной звезды в пределах некой солнечной системы, в которой все заурядно, а эта система, в свою очередь, находится в пределах одной из бесчисленного множества галактик, и когда-нибудь все, что есть на свете, взорвется или схлопнется.

Возможно, путь человеческой цивилизации подобен течению человеческой жизни, — перерастая королевство детства, мы превращаемся в обычных взрослых; мы узнаем, что не представляем собой ничего уникального, и испытываем прилив чистой радости — раз мы не уникальны, возможно, мы и не одиноки? Если существует

неведомо сколько солнечных систем вроде нашей, а в них — неведомо сколько планет, то хотя бы одна из этих планет наверняка обитаема, и гипотеза, что у нас есть соседи, становится лекарством от собственной незначительности. И вот человечество, снедаемое одиночеством, любопытством и надеждой, вглядывается в космос и выдвигает предположение, что соседи обитают на Марсе, и отправляет туда зонды. Но Марс на поверку оказывается мерзлой пустыней с разломами и кратерами, так что, может быть, соседи обитают в ближайшей солнечной системе, или в ближайшей галактике, или в той, что расположена позади нее.

В экстравагантном приступе надежды и великодушия мы отправляем в межзвездное пространство зонды «Вояджер». Две капсулы с планеты Земля, в которые заключены изображения и музыкальные композиции, ждущие, чтобы их, если все пойдет благополучно, нашли десятки или сотни тысяч лет спустя. Миллионы или миллиарды лет спустя. Или вообще никогда не нашли. Тем временем мы прислушиваемся. Сканируем окружающую среду в поисках радиоволн. Не получаем никакого отклика. В книгах, фильмах и иных произведениях строим боязли-

вые, полные тоски догадки о том, какой нашим взорам предстанет инопланетная жизнь, когда наконец вступит с нами в контакт. Но она не вступает в контакт, и мы всерьез опасаемся, что этого не случится. Приходим к выводу, что ее не существует. Какой смысл ждать, если там, далеко, ничего нет? Возможно, сейчас человечество ведет себя как пубертирующий подросток, склонный к нигилизму и аутоагрессии, норовящий разнести все вокруг в пух и прах, — мы не просили, чтобы нас производили на свет, не просили, чтобы нам в наследство оставляли Землю, о которой нужно заботиться, и уж точно не просили о том, чтобы нас незаслуженно бросали одних в непроглядном мраке.

Возможно, однажды мы посмотрим в зеркало и обрадуемся, увидев там прямоходящую обезьяну среднего роста, которая уставится на нас в ответ. Мы переведем дыхание и скажем себе: окей, мы тут одни, ну и хорошо. Возможно, этот день уже близок. Возможно, самой природе вещей свойственна эта неустойчивость, это раскачивание на булавочной головке бытия, эта децентрация себя дюйм за дюймом, которая происходит по мере того, как мы понимаем, что ошеломительные масштабы нашей собственной ничтожности суть

предложение о перемирии, выброшенное на наш берег бурными волнами.

А пока мы по-прежнему всеми покинуты и одиноки, чем еще нам заняться, как не самолюбованием? Зачарованно и самоотверженно исследовать самих себя все глубже и глубже, пылать к себе то любовью, то ненавистью, возводить себя в культ, мифологизировать и театрализовывать. Нам только и остается, что усиливать превосходство своего интеллекта и разрабатывать технологии, не переставая мучиться мечтой о самореализации, которую мы все равно никогда не воплотим в должном виде. Только пялиться в пустоту (та по-прежнему молчит) и упрямо строить космические корабли, совершать бесчисленные облеты нашей одинокой планеты, предпринимать короткие вылазки на нашу одинокую Луну и предаваться таким вот раздумьям в невесомом недоумении и привычном трепете. Поворачивать обратно к Земле, сияющей, точно освещенное прожектором зеркало в абсолютно темной комнате, и при помощи шуршащих радиоприемников обращаться к единственной жизни, которая, кажется, там существует: здрасте! Хеллоу, коннитива, чао, бонжур, вы меня слышите, прием?

В тысячах миль от их орбиты и позади изгиба Земли, в пляжном домике вблизи мыса Канаверал стоят четыре кровати, которые накануне освободила другая группа астронавтов. Вчера утром в это же время две женщины и двое мужчин еще досыпали последний час до того, как будильник возвестил о начале нового дня. Во Флориде было пять утра, желудки астронавтов все еще переваривали мясо, зажаренное на углях накануне вечером, а разум пребывал в медикаментозном сне без сновидений, отчего со стороны казалось, будто эти люди лишились чувств. Они не капали слюной, не храпели, не вздрагивали и не просыпались от испуга.

Когда луна побледнела, а снотворный паралич стал ослабевать, две женщины и двое мужчин открыли глаза и подумали: сегодня что-то произойдет. Где я? Что именно произойдет сегодня? Сквозь полудрему это предчувствие было смутным, затем вмиг сделалось пронзительным. Луна, Луна — мы летим на Луну, черт возьми, да, мы летим на Луну! Скафандры и ракета уже дожидались их. Жизнь больше никогда не будет прежней. Но вчера в это время они еще спали в том пляжном домике, а в воздухе витали ароматы колбасок, ребрышек и жареной кукурузы. Это

был их последний прием пищи перед полетом, вкусная и сытная еда на какое-то время отвлекла астронавтов от тягостных дум. И тут на небе показалась она. Такая маленькая и такая далекая. Ее холодный суровый свет ослепил их, и аппетит тотчас пропал. Надкушенный бургер, почти не тронутые ребрышки, невыпитое безалкогольное пиво, колебание в последнюю минуту, принятая таблетка, подкосившиеся ноги, прочитанная под нос молитва и ранний отход ко сну.

Наша Луна. Нога человека не ступала на ее поверхность более пятидесяти лет. Повернется ли она к Земле светлой стороной, страстно желая возвращения людей? Жаждет ли она — а по ее примеру и все остальные спутники, планеты, солнечные системы и галактики, — чтобы ее исследовали? Завтра поздно вечером, спустя меньше трех дней в пути, на ее пыльную твердь вернутся эти странные одержимые человеческие существа, целеустремленные зефирные человечки, напыщенные покорители космических просторов, эти создания, которым так хочется увидеть развевающиеся флаги посреди безветренного мира и которые обнаружат лишь, что флагштоки упали, а звездно-полосатые полотнища порвались в клочья. Вот что происходит,

когда отлучаешься на полвека, — жизнь идет без тебя своим чередом. С этими мыслями и устраивались на ночлег в пляжном домике четверо астронавтов, понимавших, что, как только они откроют глаза, начнется новая эра.

И вот она уже началась. Вчера утром астронавты поднялись, позавтракали и приступили к делам, предписанным строгим регламентом. Пришли уборщики и с церемониальным тщанием сняли постельное белье, вымыли посуду и почистили гриль. В пять вечера ракета наконец стартовала. Прошедшей ночью они совершили два полных витка вокруг Земли и только после этого оторвались от нее, и теперь, когда стартовое топливо сгорело, а ускорители отброшены, будут постепенно продвигаться по досконально рассчитанному маршруту в двести пятьдесят тысяч миль и достигнут Луны следующей ночью.

Вчера вечером шестеро членов экипажа орбитальной станции достали праздничные принадлежности, надули воздушные шары, растянули фольговую гирлянду и накрыли ужин из самых вкусных блюд, которые смогли найти среди множества серебристых пакетиков, — отыскались шоколадный пудинг, персиковый пирог и заварной крем. Роман повесил маленькую фетровую

луну — подарок сына, одну из немногочисленных вещей, взятых им с собой в космос. Они испытывали восторг с примесью зависти и гордости, которые, впрочем, быстро отступили, и их души наполнились восторгом до отказа, а в положенное время все отправились спать. Прилунение — дело важное, но им завтра рано вставать. И завтра, и на следующий день, и в любой другой.

И хотя они не признаются в этом друг другу, происходящее позволило им по-новому взглянуть на то, чем они занимаются. Внезапно собственная работа показалась им чем-то обыденным, банальным — все, что они делают, это бесцельно наматывают круги по орбите и постоянно привязаны к Земле. Пойманы в бесконечную петлю и не способны вырваться *за ее пределы.* Их преданное, моногамное кружение накануне вечером казалось им столь возвышенным и смиренным. Они чувствовали себя сосредоточенными и покорными, словно во время чтения молитвы. И хотя перед сном каждый из них выглядывал в иллюминатор, будто надеясь увидеть проносящихся мимо лунных астронавтов, и хотя их сон был тревожным и полным ожидания, в сновидения проскользнула не Луна, а дикий космический сад по ту сторону корабля — сад, по которому им всем

довелось прогуляться. А еще вечное сине-стальное очарование Земли.

Что раздражает:
водители-притиральщики;
уставшие дети;
желание пойти на пробежку;
комковатые подушки;
мочеиспускание в космосе, если спешишь;
заевшие молнии;
шепчущиеся люди;
семейство Кеннеди.

Тиэ прикрепляет списки к мешочкам для хранения вещей в своей каюте, где держит сувениры и немногочисленные личные принадлежности: тюбик крема для сухой кожи, которым увлажняет болезненные места на руках; черно-белую фотографию матери в молодости на берегу возле их дома; сборник стихов о японских горах (она получила его от дяди с последней посылкой для экипажа, но до сих пор не нашла времени прочитать). Тиэ вырывает чистые страницы в конце книги и небрежным почерком чиркает на них свои списки.

Что успокаивает:
Земля под нами;

кружки с прочными ручками;
деревья;
широкие лестницы;
трикотаж ручной вязки;
пение Нелл;
сильные колени;
тыквы.

Снаружи, в нижней точке корабля, находится устройство, которое Пьетро и Нелл установили во время выхода в открытый космос неделю назад, — спектрометр, измеряющий светимость Земли. Пока станция движется по орбите, перемещается над континентами, на север и на юг, линзы спектрометра захватывают семидесятикилометровый участок планеты, придирчиво изучают его, собирают сведения и калибруют свет.

Это не первая миссия Пьетро и не первый выход в открытый космос; за четыреста дней на орбите он провел энное количество экспериментов. Чем бы он ни занимался — ставил опыт, монтировал устройство, собирал и пересылал данные, — ему всегда удается сохранять спокойствие и осознанно дистанцироваться от происходящего. В конце концов, что такое астронавт, как не передаточное звено? Его выбрали

из-за невозмутимости; возможно, когда-нибудь его функции будут переданы роботу; возможно, это произойдет скорее, чем кажется, но тут поди угадай. Время от времени они гадают. Роботу не нужна гидратация, питательные вещества или сон, у робота нет выделений, обременительных мозговых жидкостей, менструаций, либидо и вкусовых рецепторов. Роботу на орбите не требуются фрукты, витамины, антиоксиданты, снотворное или обезболивающие, ему ни к чему туалет с воронками и насосами, для пользования которым люди проходят специальный курс обучения. Отпадает и необходимость в установке, перерабатывающей мочу в питьевую воду, ведь робот не мочится, не пьет воду и вообще не имеет никаких потребностей.

Но какой прок в том, чтобы зашвырнуть в космос агрегат, не имеющий глаз, которые увидели бы все это, не имеющий сердца, которое испытывало бы страх или ликование при виде всего этого? Астронавт годами тренируется в бассейнах и пещерах, на подводных лодках и симуляторах, специалисты выявляют его слабые места и недостатки, корректируют и сводят их к минимуму, пока не останется ничего, кроме почти идеальной триангуляции мозга, конечно-

стей и органов чувств. Одним это дается тяжело, другим легче. Пьетро принадлежит ко вторым, он прирожденный астронавт, с детства непревзойденно умеет удерживать равновесие, наделен поразительным самообладанием и присутствием духа, которые позволили ему обойтись без свойственных большинству детских истерик и подростковых протестов. Глубокое любопытство, тонко организованный разум, сосредоточенность, оптимизм и прагматизм; иначе говоря, он был астронавтом до мозга костей еще до того, как впервые услышал это слово. Похож ли он на робота? Глупость какая.

В его груди сердце, которое спотыкается и переворачивается. Пьетро способен сделать его ритм медленным и плавным, подавить страх, панику и другие импульсы, к которым оно привыкло, поставить на паузу тоску по дому, если та усиливается, приглушить бесполезное ощущение одиночества. Спокойствие и самообладание, спокойствие и самообладание. Метроном задает ритм вдохов и выдохов. И все же временами сердце спотыкается и переворачивается. Оно хочет того, чего хочет, надеется на то, на что надеется, нуждается в том, в чем нуждается, и любит то, что любит. Сердце астронавта настолько не похоже

на робота, что после выхода из земной атмосферы начинает давить наружу — гравитация снижается, и противовес сердца рвется вовне, словно вдруг осознает, что является частью зверя, живого и чувствующего. Зверя, который не просто передает сведения, но и любит то, в отношении чего эти сведения передаются.

Пьетро размышляет о спектрометре, который поможет выяснить, не тускнеет ли Земля. С тех пор, как они с Нелл его установили, Пьетро думает о нем каждый день после пробуждения; линзы спектрометра направлены на три объекта — Землю, Солнце и Луну, они измеряют свет, отражающийся от облаков и земной поверхности. Помогают разобраться, что происходит с поверхностью планеты: то ли она тускнеет из-за того, что частицы загрязняющих веществ в воздухе отражают солнечный свет обратно в космос, то ли становится ярче на фоне таяния ледникового покрова и уменьшения числа высоких светлых облаков, по причине чего Земля поглощает больше солнечного света. Или же оба процесса идут одновременно, но тогда какие могут быть последствия? Это сложная система энергообмена, определяющая температуру планеты.

Пьетро крутит в голове вторую версию — что

Земля поглощает больше света, а в космос его отражается меньше. Если бы планета светилась слабее, какой бы она представала взору отсюда, с орбиты? Снимая видео в такие дни, как сегодняшний, Пьетро видит узор облаков и широкий спектр оттенков синевы океанов в утреннем свете, голограмму, возникающую из черноты. Квинтэссенцию сияния. Каково будет потерять ее? По правому борту — переливающаяся на солнце, мягко причесанная никелевая гладь Средиземного моря, складки альпийских гор, в особенности Доломитовых Альп, темные бесснежные вершины, долины цвета индиго, оливковые равнины, бесконечные русла рек, желтовато-коричневые южные ландшафты его родной страны после долгого лета без капли дождя. Везувий угадывается, только если знаешь, куда смотреть. Сейчас начало октября, а дождя, как передают близкие, до сих пор не было. И все же планета поет, лучась чистым светом, словно он проистекает из ее ядра, прямо из живота этого великолепного фотогеничного объекта, который Пьетро ловит в видоискатель.

Мимо проскальзывает Восточная Европа, они уже летят над Россией, Монголией и дальше над Китаем, и все это за какие-то двадцать минут;

Пьетро ждет, когда в иллюминаторах вновь появится тайфун. Он знает, что тайфун близко, за следующим изгибом планеты, — прячется по другую сторону ярко-синей выпуклости. Вскоре Пьетро окажется прямо над ним, и обзор будет полным. Он не устает удивляться этому каждый день. До чего неожиданно странно видеть, как внизу проплывает корабль-планета. Возможно, во Вселенной нет другого тела, за которым велось бы столь пристальное наблюдение, — кто знает? За Землей следят не только его глаза и глаза остальных членов экипажа, не только линзы спектрометра, но и другие записывающие устройства космической станции, а также тысячи гудящих спутников, роящихся на орбитах разной высоты; миллиарды радиоволн передают и принимают сведения о ней.

Этим же сейчас занимается и он, неробот с фотоаппаратом в руках, парой глаз с заурядным зрением и сердцем, спотыкающимся и переворачивающимся в груди от вида неповторимой планеты. Пока Пьетро делает снимки, сердце колотится о ребра.

Виток 4, движение вниз

Их руки погружаются в экспериментальные боксы, собирают или разбирают устройства повышенной прочности, наполняют пакеты с едой в мышиных клетках; их ноги привязаны ремнями к рабочим местам; отвертки, гаечные ключи, ножницы и карандаши парят над их головами, пинцет отделяется от держателя и плывет к вентиляционным отверстиям — месту упокоения потерянных вещей.

Они минуют Шанхай, который днем представляет собой безлюдное побережье на краю континента всех мыслимых оттенков. Это четвертый на сегодня орбитальный виток за время их бодрствования, и хотя сейчас станция держит курс на восток, при каждом полном обороте вокруг Земли в силу особенностей ее вращения маршрут смещается к западу, то есть они, подобно тайфуну, неуклонно удаляются от Тихого океана в сторону суши — Малайзии и Филиппин, а тайфун догоняет их сзади.

Бросив все свои дела, они достают фотоаппараты. Щелкают затворы, жужжат объективы,

парят в воздухе белые следы носков. Экипаж собирается у панорамных иллюминаторов, головы аккуратно прижимаются к пуленепробиваемому стеклу, взгляды вбирают ошеломительный вид, расстилающийся внизу. Сейчас им открывается полный обзор на тайфун и глубокий засасывающий колодец в его центре. Планета, полностью состоящая из клубящихся облаков.

Жителям территорий, на которые должен обрушиться тайфун, приказано эвакуироваться. Сделанные из космоса снимки подтверждают то, что, похоже, уже известно мечущимся птицам и убегающим козам: тайфун разогнался достаточно, чтобы с огромной скоростью распространиться на триста миль в ширину. Всем, кто сейчас на Филиппинах: забаррикадируйтесь или уезжайте. Всем, кто сейчас на крошечных восточных островах: уезжайте. Пьетро мысленно обращается к одному рыбаку и его семье: прошу, уезжайте. И лучше бы вчера, чем сегодня. Но куда они поедут? И на чем? Кроме того, рыбак намерен сберечь имущество и не хочет бросать пожитки, которые остались у него после предыдущего тайфуна и тех, что были до него. Тайфун разразится, самое позднее, через двенадцать часов, а ты сейчас на острове, рядом с которым находится другой

остров, лежащий безнадежно низко над уровнем моря. Тебе остается только противостоять этой безнадежности. В конце концов, все остальные штормы ты пережил. У тебя есть дом из жести, картона, дерева и палок, а в наши дни тайфуны настолько часты и разрушительны, что строить что-то более прочное попросту нет смысла: тебе приятнее не иметь многого, чтобы меньше приходилось терять, нежели продолжать терять многое из раза в раз.

Ты остаешься. Смотришь на беспокойное ночное небо, где проводит дни твой чудаковатый друг-астронавт, который присылает тебе пугающие снимки Самара — твоего острова посреди бирюзового моря. Уноси ноги, советует он. Ты то и дело бросаешь взгляд на экран телефона и видишь сообщение, в котором он побуждает тебя к действию. Еще он пишет, что может договориться, чтобы тебя забрали либо посадили на борт самолета.

Он хороший человек, сдержанно комментирует твоя жена, и это правда. Один из лучших. Каждый месяц присылает деньги на обучение твоих детей, а ведь вы с ним виделись всего однажды — он занимался дайвингом (это было во время его медового месяца), ты рыбачил в лодке. Ты

уронил нож, которым резал леску, и тот мгновенно пошел ко дну. Нож стоил десять долларов, он был добротным и острым. И тут на поверхности показались астронавт и его жена, которые ныряли возле рифа среди отмелей на расстоянии дельфиньего прыжка и увидели из воды, как ты свешиваешься через край лодки. Минут пятнадцать они искали твой нож и отказывались подниматься, пока не найдут. Отказывались наотрез. Да не надо, втолковывал им ты, маша рукой, выныривайте уже. Но они не сдавались и каким-то чудом отыскали нож, застрявший между камнями на двадцатипятиметровой глубине.

Астронавт и рыбак. Столкновение двух миров. Вечером он с женой пришел к тебе на ужин и, словно пришелец из космоса, очаровал твоих детей и заколдовал твой картонный домик. Понятные опасения твоей жены так и не развеялись до конца, однако астронавту удалось расположить к себе и ее. Даже сделанный им снимок вашей семьи зачаровывает: твоя подавленная жена с худощавым лицом, ты сам, сильный и похожий на льва, ваши четверо детей (сидят, стоят, удивлены, недоверчивы, безмятежны, ухмыляются, цепляются друг за дружку) — образчик растрепанной красоты. Кажется, только увидев

фото, ты впервые осознал, насколько красивые у тебя дети.

Ты вертишь фотографию в руках. Она была бы единственной вещью, которую ты взял бы с собой, если бы вы с семьей убегали от тайфуна. Но вы никуда не побежите. Да и куда бежать? Этот вариант не по тебе. Твоя жизнь здесь, и ты не намерен что-либо менять.

Впереди — терминатор, эта четкая граница между днем и ночью, которая обхватывает планету, будто ремень на талии. Она рассекает Папуа — Новую Гвинею надвое. В одной половине свет, в другой — тьма.

Светлая половина острова покрыта пышной растительностью и похожа на дракона, ее горы в лучах предзакатного солнца выглядят сказочными, побережья очерчены биолюминесцентными линиями. Темная половина — тень на кобальтово-синей воде. На всем берегу от силы один-два электрических огня. Корабль скользит на юго-восток в гущу тьмы, под ним проплывают Соломоновы острова, Вануату, Фиджи, пестрящие бледно-золотыми пятнами. По правому борту виднеются покрытые тонкой парчой Канберра, Сидней и Брисбен, а затем в иллюминаторы не видно почти ничего, кроме вытканной челноком

оконечности Новой Зеландии, пронзающей полотно южных морей.

В нынешнее время года над северными районами Антарктиды примерно шесть часов в сутки царит абсолютная темнота, остальное время они освещаются дневным и сумеречным светом различных оттенков. Сейчас как раз короткая непроглядная ночь. На одной из антарктических исследовательских станций только что расположилась группа миграционных биологов, изучающая полярных крачек, которые вот-вот прилетят сюда. Эти крохотные птички перебираются с одного полюса на другой. Чтобы осилить такой марафон протяженностью порядка десяти тысяч миль, за время пути им приходится переварить часть своих внутренних органов. Сейчас начало октября, Антарктика вырывается из долго сжимавших ее цепких лап сумерек, подо льдом кишит криль. Биологи будут ждать, пока на горизонте не вспыхнут белые молнии, а небо не наполнится резкими криками и карканьем первой приближающейся стаи. Но сейчас, в кратком промежутке темноты, они выходят на улицу посмотреть на кое-что другое. Им даже не нужно смотреть вверх, чтобы узнать, что оно там. Вокруг их базы — зеленое кольцо. Марсиане летят, шутят

они, топая по холодному снежному полю, напоминающему лунную поверхность, и видя, как Млечный Путь раскалывается от красного света.

Из космоса, откуда на это же зрелище смотрит Роман, вид поначалу расплывчатый. Чтобы сориентироваться, Роману требуется время. Простор зимнего небытия под жемчужным покровом облаков, затем знакомый блеск ледниковых шапок, исчезающих за Южным полярным кругом. Справа по борту — нахально-яркие Плеяды. Иногда членам экипажа хочется увидеть что-то конкретное — пирамиды, новозеландские фьорды или пустыню с ярко-оранжевыми дюнами, до того абстрактными, что глазу сложно их идентифицировать, — с тем же успехом это могло бы быть увеличенное изображение клеток сердца, которые они выращивают в чашках Петри. В другие дни они скучают по драме и опере, земной атмосфере и ночному небу, а иногда по разным мелочам, таким как огни рыбацких лодок у берегов Малайзии, усеивающие черный океан, словно звезды. Но сейчас Роман видит то, что предугадывал заранее, то, о чем всем им нашептывало шестое чувство, — по ту сторону иллюминаторов загораются огни полярного сияния. Зеленые всполохи чередуются с красными, змеятся внут-

ри атмосферы, великолепные и встревоженные, точно пойманный зверь.

Нелл, зовет он, иди скорее. Нелл, которая в это мгновение как раз проплывает через модуль, поднимается к куполу. Они вместе топчут воздух, наслаждаясь ошеломительным видом.

Ночное небо светится зеленовато-желтым. Под ним, в промежутке между атмосферой и Землей, появляется неоновый пушок. Он колеблется, разливается, растекается дымом над планетой; лед зеленый, нижняя часть космического корабля — причудливая тень. У света вырастают крылья и конечности, он то складывается, то раскрывается. Давит на атмосферу снизу, подергивается, изгибается. Выпускает шлейфы. Флуоресцирует, ослепляет. А затем взрывается световыми столпами. Извергается за пределы атмосферы и воздвигает башни высотой в двести миль. Пурпурный шлейф над вершинами башен заслоняет звезды, а над земным шаром мерцает и гудит танцующий, дрожащий, заливающий все вокруг свет, и бездонные глубины космических просторов угадываются в его сиянии. Тут растекаются струи зеленого, здесь извиваются неоновые ленты, там высятся красные колонны, проносятся полыхающие кометы; те звезды, что

находятся ближе, сейчас как будто вращаются, те, что далеко, сохраняют прежнюю неподвижность, а все, что за ними, видится лишь едва различимыми точками.

Шон и Тиэ уже тоже здесь, под куполом. Антон у иллюминатора российского модуля, Пьетро — в лаборатории. Все шестеро прильнули к стеклу, точно мотыльки. Над Антарктидой этот виток завершается, и корабль устремляется на север. Башни рушатся, словно от изнеможения, рваные зеленые вспышки озаряют магнитное поле. Южный полюс остается позади.

На лице Романа детское выражение. Офигеть, шепчет он. *Вау*, раздается из глубины горла. *Сугои*, отзывается Тиэ, и Нелл повторяет это слово. Запомни это, говорит себе каждый из них. Запомни это.

Виток 5, движение вверх

Недели две назад Антону приснилась предстоящая высадка на Луну. Вернее, сон приснился ему в одну ночь, а в другую повторился практически в том же виде (это свойство типично для его мозга, который неоднократно прогоняет сновидения, словно техник, проверяющий работу оборудования). Нельзя сказать, что, будучи космонавтом, он обычно смотрит сны о Луне или космосе, — наоборот, будучи космонавтом, он обычно смотрит весьма прагматические сны, например о том, как с помощью гаечного ключа выбраться из горящего помещения через узкое окошко. Этакие сны-тренировки. Однако в последнее время его ночи наполняются некими образами, а сновидения сплошь странные и меланхоличные. Без сомнения, недавний дважды виденный сон навеяли мысли об астронавтах, стартовавших накануне с мыса Канаверал. Из всего, что только могли придумать проклятые американцы, ему снилась пресловутая фотография, сделанная Майклом Коллинзом еще в 1969 году во время первой успешной лунной миссии. На снимке запечатлен

лунный модуль, поднимающийся над поверхностью Луны, а на заднем плане светится Земля.

Никому из русских не следует предаваться подобным видениям. На их стороне об этом молчат, и молчание исполнено зависти — тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый американцы вскоре высадятся на свято чтимую пыльную твердь, куда до сих пор не ступала нога русского человека. Ни разу. Российских флагов там тоже до сих пор нет. Русским не следует смотреть сны ни об этой высадке на Луну, ни о первой, ни о второй, ни о третьей, ни о четвертой, ни о пятой, ни о шестой, но разве можно управлять своими сновидениями?

На снимке Коллинза изображен лунный модуль с Армстронгом и Олдрином на борту, за их спинами Луна, примерно в двухстах пятидесяти тысячах миль за ней — Земля, голубая полусфера, парящая в непроглядном мраке и несущая на себе человечество. По общему убеждению, единственный человек, отсутствующий на снимке, — Майкл Коллинз, и эта идея завораживает. Все прочие люди, о существовании которых известно в настоящее время, присутствуют в кадре, не хватает лишь того, кто сделал снимок.

Антон никогда всерьез не разделял этого утвер-

ждения и не пленялся им. А как же люди на противоположной стороне Земли, не попавшей в объектив, и жители Южного полушария, которое поглощено космическим мраком, ведь там в этот момент была ночь? Есть они на фотографии или нет? На самом деле на ней никого нет, никого не различить. Все превратились в невидимок — Армстронг и Олдрин в лунном модуле, человечество на планете, которая отсюда вполне может показаться необитаемой. Наиболее убедительным и очевидным доказательством жизни на снимке является фотограф — его глаз возле видоискателя, тепло его пальца, жмущего на кнопку затвора. В этом смысле самым чарующим в снимке Коллинза является то, что в момент съемки он — единственный человек, который на нем запечатлен.

Отца Антона наверняка огорчила бы мысль, что единственный человек на фото, единственная форма жизни во Вселенной — это американец. Антон вспоминает, как отец рассказывал ему истории о высадках русских на Луну, — запутанные, подробные, причудливые истории, которые Антон стараниями отца принимал за чистую монету и которые, увы, были всего лишь сказками. Эти сказки произвели на него неизгладимое впе-

чатление. Когда Антон спрашивал у отца, сможет ли он, когда вырастет, стать следующим русским, который полетит на Луну, отец отвечал, да, сможет и станет, так предначертано звездами. Более того, на поверхности Луны, возле российского флага стоит коробочка с «Коровкой», любимыми конфетами Антона, ее специально для него оставил там последний космонавт, побывавший на Луне. На коробочке выведено имя Антона, и однажды он поднимет ее и отведает эту «Коровку».

Сейчас Антон уже не помнит, когда ему стало понятно, что отец все сочинил и ни один русский не летал на Луну, а значит, там нет ни флага, ни «Коровки». Не помнит он и того, когда именно решил, что частично воплотит отцовскую выдумку и сам отправится на Луну. О своем намерении Антон рассказал жене. Говоря об этом, он испытывал необычайную уверенность и заранее гордился собой, преисполненный растущего чувства национального, личного, мужского, а впоследствии и отцовского долга; он полетит на Луну, станет первым русским на Луне, первым, но не последним. С того разговора минуло уже много лет.

В первом из двух сновидений Антон просто рассматривал фотографию, и то, что на ней

запечатлено, ощущалось им как реальность, словно он являлся Коллинзом, парил в космосе и был единственным человеком во Вселенной. Во втором сне Антон опять парил, испытывая то же ощущение спокойного одиночества, и внезапно уловил какой-то звук — тихий шепот, оживленное перешептывание тысяч или миллионов голосов. Антон прислушался, и Земля будто переместилась ближе, голоса заговорили громче и требовательнее, слились в один и стали его собственным. Он видел себя, а может, и не себя, а собственный голос, он был собственным голосом, который стоял на поверхности Земли и смотрел в космос, на Луну, которая теперь находилась ужасно далеко и была размером с мелкий окатыш; и он кричал, обращаясь к жене, которая теперь находилась по ту сторону объектива фотоаппарата, на этой далекой Луне или где-то вблизи нее. И конечно, жена не слышала криков Антона, но он неведомым образом знал, что она видит его в объектив, видит, как он разевает рот и машет руками, точно просит о спасении или сам предлагает кого-то спасти, — Антон не знал, который из двух вариантов верен.

Порой Нелл подмывает спросить Шона, как это он может быть астронавтом и верить в Бога, того

самого из истории о сотворении мира, но она и так понимает, что сказал бы Шон. Он ответил бы вопросом на вопрос и поинтересовался, как это она может быть астронавтом и не верить в Бога. К общему знаменателю им все равно не прийти. Дальше Нелл обвела бы рукой иллюминаторы левого и правого борта, по ту сторону которых простирается бесконечная свирепая тьма, лежат солнечные системы и галактики, разбросанные как попало, а поле зрения настолько безгранично и многомерно, что практически можно увидеть искривление пространства-времени. Посмотри, сказала бы она. Мне кажется, вот так расшвырять все это могла лишь некая чудесная безвольная сила.

Шон тоже обвел бы рукой иллюминаторы левого и правого борта, по ту сторону которых простирается бесконечная свирепая тьма, лежат солнечные системы и галактики, разбросанные как попало, а поле зрения настолько безгранично и многомерно, что практически можно увидеть искривление пространства-времени, и сказал бы: откуда могло все это здесь появиться, если не под действием некой чудесной волевой силы?

То есть вся разница между их взглядами сводится к наличию или отсутствию воли? То есть

вселенная Шона такая же, как вселенная Нелл, только создана продуманно и согласно некоему плану? Ее мир — явление природы, а его — произведение искусства? Различие кажется незначительным и в то же время непреодолимым. Нелл вспоминает, как однажды зимним днем — ей тогда было лет девять-десять — они с отцом гуляли по лесу и увидели большое дерево. Они уже почти отошли от него, как вдруг сообразили, что дерево ненастоящее: это был артефакт, сделанный из десятков тысяч палочек, склеенных и сплетенных так, что в результате получился совершенно правдоподобный ствол, ветки и даже узловатая кора. Оно ничем не отличалось от прочих голых замерзших деревьев, но едва Нелл поняла, что перед ней рукотворный объект, он запульсировал совсем другой энергией, и атмосфера вокруг него изменилась. Нелл полагает, что именно в этом и кроется различие между их с Шоном вселенными — дерево, созданное рукой природы, и дерево, созданное рукой художника. Разница несущественная и при этом фундаментальная.

Но Нелл не задает Шону ни одного из этих вопросов, и когда они вдвоем садятся обедать, Шон ни с того ни с сего говорит: однажды воскрес-

ным днем мы с отцом и дядей смотрели первую высадку на Луну — у отца была видеозапись. И знаешь что?

Он зависает у стола, опускает вилку в пакетик со стейком и внезапно замирает, погрузившись в воспоминания.

Это было знаковое событие, продолжает он, своего рода достижение совершеннолетия, мне было десять или одиннадцать, и за просмотром записи в компании отца и дяди я впервые почувствовал, что они относятся ко мне как к равному. Мне это не понравилось. Честное слово, мне это вообще не понравилось.

Нелл вздрагивает; она и так все время выглядит испуганной, ее короткие волосы стоят дыбом, будто по ним пропускают ток, а щеки пухнут от невесомости. Она срезает верхушку с пакетика ризотто, его содержимое еще недостаточно нагрето, но оно есть, а она проголодалась. Поедая ризотто, Нелл раскачивается, словно морской конек, не останавливаясь ни на миг, а напротив нее раскачивается Шон, тоже не останавливаясь ни на миг. Одежда пробегает по коже легкими волнами.

До этого, рассказывает он, я, как все дети, запоем читал книги о космосе, книги о программе

«Шаттл», в комнате у меня висели плакаты с «Аполлоном», «Дискавери» и «Атлантисом». Думаю, это была моя мечта. Но пока мы с отцом и дядей смотрели то видео, краем глаза я заметил выражения их лиц. Они горели таким воодушевлением, будто эта высадка сделала их собственные жизни пустыми и наполненными одновременно. Мне стало не по себе. Я не мог видеть этот жаждущий взгляд в глазах отца.

Нелл отмечает про себя, что подобные взгляды знакомы ей по лицам мужчин, которые смотрят спортивное состязание, скажем футбольный матч, и нахваливают команду, чья победа упрочивает их собственные позиции, а затем тут же отодвигает их на задний план, ведь слава принадлежит игрокам, а не человеку, который сидит на диване и никогда не будет участвовать в матче вместе с ними.

Шон перестает есть и разжимает пальцы. Вилка выплывает из его руки, он ловит ее, снова выпускает и снова ловит.

И я помню, говорит он, как подумал в тот день: да кому вообще хочется быть астронавтом? Запись вдруг показалась мне абсурдом, а астронавты — проекцией всех несчастных разочарованных мужчин Америки.

Игрой фантазии, комментирует Нелл.

Игрой фантазии, повторяет Шон.

Нелл кивает. Шон смеется, будто говоря: а теперь посмотри на нас.

Пожалуй, для меня таким моментом стал запуск «Челленджера», который я в детстве видела по телевизору, говорит Нелл. То есть моя история связана не с высадкой на Луну, а с «Челленджером». Я поняла: космос реален, космический полет реален, космический полет — это то, что совершают и во время чего умирают реальные люди. Живые люди, такие как я, могут совершать полеты, и если я умру во время полета, в этом не будет ничего странного, я не против умереть вот так. Это перестало быть только мечтой и превратилось в цель. Мою личную цель. Я стала как безумная изучать биографии погибших астронавтов. Думаю, с этого все и началось.

До сих пор помню все так, словно дело было вчера, говорит Шон. Помню, как смотрел это. Испугался я тогда до чертиков.

И я тоже, отзывается Нелл.

Подобные диалоги на борту — редкость. Некое отвлечение от разговоров о процессах на станции, планах работ, обнаружении и устранении утечек в местах стыковки, очистке бактериаль-

ных фильтров, замене приточного вентилятора или теплообменника. О телешоу, которые они смотрели в детстве, о любимых книгах; как выяснилось, все они, выходцы из пяти разных стран, знали ту или иную версию Винни-Пуха. *Пу-сан, Уинни-зе-Пу, Винни-Пух л'орсетто,* Винни-Пух — этот мультяшный медвежонок живет в сердце каждого из них. Но если речь заходит о том, что привело их сюда, какие мотивы и стремления кроются за тем, что они оставили все дорогое на Земле… Они добрались сюда — вот ключевая фраза. Ты оказываешься здесь, и твоя жизнь стартует заново, и все, что ты принес с собой, ты принес в голове, и если оно сейчас не востребовано, оно и дальше останется в твоей голове, потому что нет ничего более важного, чем то, что происходит сейчас. Это место — твой дом.

Шон заваривает кофе, а Нелл размышляет, не задать ли ему вопрос, который вертится у нее на языке. Крестик, висящий на цепочке у Шона на шее, подпрыгивает у него под подбородком; из-за этого постоянно мелькающего перед глазами крестика Нелл всегда хочется расспросить Шона о его религии. Он вынимает из кармана пакетик ореховой смеси, открывает его, подкидывает ядрышко фундука и приближается к нему с от-

крытым ртом, будто форель.

О жизни тех семерых астронавтов, погибших на борту «Челленджера», я знала все, говорит Нелл. Абсолютно все.

Шон с нарочитым хлюпаньем потягивает кофе из носика пластиковой чашки, словно пьет из игрушечной лейки.

Мне было всего семь лет, говорит она. Моя комната была увешана фотографиями погибших членов экипажа. Года, наверное, три в день рождения каждого из них я зажигала свечи.

Серьезно? — изумляется Шон.

Ага.

Понятно.

Сейчас я гадаю, почему мой отец никак не попытался меня остановить.

Шон медленно кивает в своей задумчивой манере, жует и рисует в воображении девочку, которая зажигает свечи в память погибших астронавтов, даже не так — которая зажигает свечи. Боже милостивый. Но в память астронавтов. А впрочем, почему бы и нет: сам он, к примеру, ставил у себя в комнате оптоволоконные ловушки, чтобы сестра не совала туда любопытный нос. У каждого ребенка свои причуды.

Я чуть с ума не сошла от ужаса, рассказывает

Нелл. Это было отчаянно страшно: сейчас они есть, а через семьдесят секунд их уже нет. Их нет.

Да уж, говорит Шон.

Семьдесят секунд — и их уже нет.

Весь мир смотрел на это, добавляет он. Дети смотрели.

Все смотрели, все… Голос Нелл обрывается, точно она подошла к краю пропасти. В детстве эта мысль мешала мне спать, продолжает она. Мысль о том, как быстро все может измениться. А отец не делал ничего, чтобы исправить положение. Как-то раз, утешая меня, он брякнул, что свечи отгоняют демонов — дескать, люди зажигают свечи, чтобы почтить память усопшего и защитить его от демонов. Отец редко произносил абсурдные фразы, но эта была абсурдной. Чем тебе поможет защита от демонов, если ты сидишь в космическом шаттле и он распадается на пять тысяч кусочков, пока твоя капсула со скоростью сотни миль в час пролетает двенадцать миль и разбивается в океане? Если демоны и вправду существуют, не их ли это работа?

Она отчетливо помнит, как нашла в кухонном шкафу именинные свечи и подсвечники, воткнула их в пластилин и часами не решалась

зажечь спичку, ведь она знала, что этого ей делать нельзя, и боялась, что затея плохо кончится — например, спичка взорвется у нее в руках.

Шон не отвечает, хоть и не потому, что не сочувствует Нелл. Похоже, он о чем-то задумался. Она тоже обращается в себя. Вспоминает, как плакала, когда более месяца спустя обломки корабля и тела астронавтов подняли со дна океана, и как на фоне этого горя, тогда еще толком не осознаваемого, погрузилась в одержимость. По мнению отца, Нелл до сих пор не вынырнула из ее недр.

Долю секунды Шон недоумевает: какого черта я делаю здесь, в консервной банке посреди безвоздушного пространства? Консервированный человечек в консервной банке. В четырех дюймах металла от смерти. Причем не просто от смерти, а от аннигиляции.

Зачем ты это делаешь? Зачем пытаешься жить там, где никогда не сможешь чувствовать себя вольготно? Рвешься туда, где Вселенная тебе не рада, тем более когда есть такая замечательная Земля, которая тебя принимает. Шон до сих пор не понимает, что пробуждает в человеке стремление попасть в космос — любопытство или неблагодарность? И кем — героем или идиотом — он становится по воле этого странного горячего

желания? Пожалуй, ни тем, ни другим, а кем-то третьим.

Мысли врезаются в стену и погибают. Затем — в сотый раз за сегодня — перерождаются во внезапное беспокойство за эти четыре души, за его коллег и друзей, направляющихся к Луне.

Не падай духом, однажды сказала ему жена, если ты погибнешь там, наверху, миллионы твоих частиц будут вечно вращаться вокруг Земли; по-моему, звучит здорово. С этими словами она заговорщически улыбнулась. И коснулась мочки его уха — она всегда так делает.

Ку-ку, мышки, шепчет Тиэ. Ку-ку!

Она вынимает блок из стеллажа, выдвигает одну из стеклянных клеток; сидящая внутри мышь забивается в угол, ищет укрытие. Тиэ вытаскивает мышку. В динамиках лаборатории идет радиотрансляция, голоса ведущих журчат, словно разбухший после дождя ручей, разговоры только о Луне — сейчас полдень, и Америка проснулась. *Первая женщина-астронавт направляется к Луне — грандиозный шаг для всего человечества.*

Мыши поделены на пять групп, по восемь в каждой. В первую, вторую и третью входят те, кого не коснулась рука науки (если не считать

ракеты, на которой они сюда прилетели), в четвертую — те, кому регулярно делают инъекции, тормозящие мышечную атрофию, а в пятую — те, что уже родились массивными, с модифицированными генами, способные выжить в условиях невесомости.

Мыши из первых трех групп чахнут день ото дня. За неделю с момента прибытия на грузовом корабле их души словно схлопнулись. Тельца сжимаются, черные глазки выпучиваются, лапки большие и бесполезные, отчего мыши выглядят аномально и недоразвито.

Мыши из четвертой группы, которым вводят специальный рецептор, крупнее и сильнее. Одну за другой Тиэ достает их из клетки и давит на затылок большим пальцем, благодаря чему мыши делают вывод: сейчас можно не сопротивляться, нужно только замереть. При этом они фиксируют взгляд на чем-то неведомом. Даже их мягкие морщинистые, как у летучих собратьев, ушки не шевелятся. Другим большим пальцем Тиэ осторожно нажимает на поршень шприца. Едва Тиэ отпускает мышку, та соскальзывает с ее ладони и плывет обратно в клетку.

А вот генетически модифицированные мыши в пятой группе смелее, точно некий инстинкт под-

сказывает им, что их более крупные тела даруют преимущества и власть. Когда Тиэ просовывает руку в клетку, чтобы положить в кормушку свежие питательные батончики, мыши приближаются, пищат и обнюхивают ладонь, имеющую почти такую же ширину и длину, как их тела. Мыши из первых трех групп, чьи мышцы атрофируются, умещаются на ее ладони, будто сливы. Тиэ подносит мышек к лицу. Мне очень жаль, шепчет она им на ухо, но никому из вас не выбраться отсюда живыми. Ни вам, маленькие, ни вам, большие. Вы все обречены. Мне очень жаль, что я вынуждена вам это говорить.

Мыши, похоже, воспринимают ее слова стоически. Да, так и надо, одобряет Тиэ. Ко всему нужно относиться стоически. Тиэ проводит большим пальцем по спинкам мышей, ощущая их острые позвонки. Она печалится из-за того, что пропустит похороны матери, а особенно — обряд омовения костей, в ходе которого родственники покойного палочками для еды прощупывают его останки в поисках фрагментов костей, уцелевших после кремации. Тиэ хотела бы найти одну из костей предплечья матери, локтевую или лучевую, длинную выразительную кость, которую она всегда видела с внутренней стороны ее запя-

стья, когда та мыла ей голову или расчесывала; кость прокручивалась вокруг своей оси, словно ролик. Воображению маленькой Тиэ ее движения казались роботизированным совершенством. Вот бы отыскать эту кость целиком или хотя бы ее кусочек. Возможно, она попросит об этом дядю.

Пьетро обедает макаронами с сыром — по крайней мере, они называют это макаронами и сыром. Перед тем как он покинул Землю, дочь-подросток спросила: по-твоему, прогресс — это красиво? Да-да, конечно, ответил он, не задумываясь. Боже мой, это невероятно красиво. А что ты скажешь об атомной бомбе, об этих, как бишь их, фальшивых звездах в форме фирменных логотипов, которые они собираются отправить в космос, и о домах, которые они собираются построить на Луне из ее собственной пыли? Нам вообще нужны дома на Луне? — продолжила дочь. Я люблю Луну такой, какая она есть, сказала дочь. Да-да, конечно, ответил он, я тоже, но все эти вещи красивы, потому что их красота проистекает не из того, что они хорошие, ты ведь не спрашивала, хорош ли прогресс, да и человек красив не потому, что он хорош, он красив, потому что живой — как ребенок. Живой, любопытный и непоседливый. Хорош ли он — уже другая история. Человек кра-

сив, потому что в его глазах горит свет. Иногда разрушительный, иногда ранящий, иногда эгоистичный, но все равно красивый, потому что живой. Вот и прогресс точно такой же, он живой по натуре.

От своих слов Пьетро не отказывался, но во время того разговора он не думал о готовых к употреблению макаронах с сыром, специально разработанных для тех, кто находится в космосе, и эти макароны с сыром нельзя назвать ни сколько-нибудь хорошими, ни сколько-нибудь красивыми, да и сделаны они явно из чего-то, едва ли тронутого искрой жизни. Как-то раз Пьетро попытался придать им вкуса при помощи свежего чеснока, доставленного на грузовом корабле, — налил в пакетик из-под напитка немного масла, нагрел его, положил туда пару зубчиков чеснока и предвкушал, как получит ароматную пасту, которой сможет приправлять любые блюда. Но пакетик перегрелся и протек, после чего пространство вокруг стола, каюты и лаборатории пахли чесноком несколько дней, а то и недель. Пожалуй, они до сих пор им пахнут, ведь куда может испариться запах из герметичного космического корабля, в котором воздух бесконечно перерабатывается?

До его слуха доносятся голоса радиоведущих. Что-то об Орионе, брате Артемиды, чье имя носит космический корабль, который мчит четверых астронавтов к Луне. Артемида, богиня Луны, богиня охоты, рассыпающая стрелы. Так странно, что самая инновационная наука современности определяет себя именами мифологических божеств. Впрочем, кому бы из них шестерых не хотелось стать частью экипажа этого корабля, названного в честь гневливой богини? Стоять на поверхности каменного небесного тела, которое не является Землей; неужели чем дальше оттого или иного объекта ты оказываешься, тем полнее можешь оценить его значимость? Вероятно, это детское представление, но в голову Пьетро приходит мысль, что, если бы люди переместились на достаточно большое расстояние от Земли, они наконец сумели бы ее понять — увидеть собственными глазами как объект, маленькую синюю точку, нечто космическое и таинственное. Не столько для того, чтобы разгадать ее тайну, сколько чтобы осознать ее таинственность. Посмотреть на нее как на роевой алгоритм. Увидеть, как она теряет плотность.

В обеденный перерыв Роман настраивает радиоприемник, но в это время они летят над

центральными регионами Австралии, где нет не только радиолюбителей, но и вообще ни одной живой души. К своему удивлению, Роман слышит тихое потрескивание, однако четче и громче звук не становится. Хеллоу, говорит он. Здрасте. В российском сегменте к стене над рабочим столом прикреплена фотография Сергея Крикалёва — первого россиянина, участвовавшего в первой экспедиции на космическую станцию, человека, который помогал ее строить, человека, который полетел в космос гражданином СССР и провел на «Мире» почти на полгода дольше запланированного срока, потому что за время его миссии СССР прекратил свое существование и космонавт не мог вернуться на родину. Целый год он ежедневно переговаривался через любительский радиоприемник с кубинкой, которая передавала ему новости о его разваливающейся стране. Для Романа Крикалёв — настоящий герой. Его кумир. Не снискавший большой славы, зато умный, спокойный и мягкий человек.

Нельзя иметь все и сразу, думает Пьетро, вытирая вилку. Приправ на орбите мало, свежий хлеб тоже в дефиците; чесночный эксперимент дал обратный эффект, только ослабив вкус и обоняние, которые и без того были хуже некуда. И все

же время от времени эйфория подкрадывается на мягких лапах, настигает тебя в самые пресные мгновения, и тогда сквозь металлический корпус корабля ты чувствуешь звезды Южного полушария. Даже не глядя, ты чувствуешь их во всем их изобилии и многообразии. А дочь была права, задав ему тот вопрос о прогрессе, и сейчас Пьетро раскаивается, что прореагировал на него столь самоуверенно и софистически, ведь вопрос возник в душе, которая была совершенно невинна и надеялась получить столь же невинный ответ. Не знаю, милая, следовало ему сказать. Это было бы правдой. В самом деле, кто, увидев, как невротически человек захватывает планету, нашел бы его поведение красивым? Мужское высокомерие. Высокомерие настолько сокрушительное, что сравниться с ним может лишь мужская глупость. И эти фаллические корабли, запущенные в космос, однозначно являются квинтэссенцией высокомерия, тотемами вида, который сошел с ума от самовлюбленности.

Пожалуй, ответ, который он действительно хотел дать дочери — и сделает это, когда вернется, — звучит так: прогресс — это нечто нематериальное, это эмоция, ощущение приключения и расширения, которое зарождается

в животе и поднимается до груди (и очень часто заканчивается в голове, а там от него нередко бывает вред). Находясь здесь, это ощущение он испытывает почти непрерывно — и в самые незначительные, и в самые важные мгновения: животом и грудью он воспринимает глубинную красоту вещей и некую невероятную милость, которая вознесла его в такую высь, в гущу звезд. Красоту, которую он чувствует, когда пылесосит панели управления и вентиляционные отверстия; когда члены экипажа обедают отдельно, а затем ужинают вместе; когда они складируют отходы в грузовой модуль, который будет отправлен в сторону Земли, но сгорит в атмосфере; когда спектрометр обозревает планету, в то время как день превращается в ночь, быстро превращающуюся в день, звезды появляются и исчезают, а внизу проплывают континенты бесконечного множества оттенков; когда он щеткой ловит в воздухе комок зубной пасты, расчесывает волосы и, неизменно утомленный под конец дня, забирается в слабо привязанный спальный мешок и висит не вверх ногами и не в правильном направлении, потому что никакого правильного направления тут нет, и это факт, с которым мозг рано или поздно смиряется. Он чувствует красо-

ту, когда на высоте двухсот пятидесяти миль над Землей готовится ко сну на время условной ночи, тогда как по ту сторону иллюминаторов солнце продолжает без устали вставать и садиться. Вот о чем Пьетро рассказал бы дочери, а еще лучше — разделил бы с нею (как бы ему хотелось, чтобы она могла подняться сюда вместе с ним) это чувство, которое сопровождает его на протяжении первой и второй космических миссий, мягкое открытое восприятие всего хорошего, что есть там, внизу. Вероятно, его ответ прозвучал бы излишне уверенно, но каким еще он мог бы быть, если в этом месте, расположенном выше и дальше всех сфер, охваченных деятельностью человека, язык просто не поворачивается назвать прогресс некрасивым?

Давайте заключим сделку, говорит Тиэ мышам. Если к вечеру вы наконец начнете учиться летать, я загляну сюда и поглажу вас. Вы не можете все оставшееся у вас время — а его, к сожалению, очень мало — цепляться за прутья клетки. Месяца через два вы упадете в Атлантический океан, и, если выживете, вас отправят на обследование в лабораторию и быстренько принесут в жертву науке. Вам так или иначе придется их отпустить, лучше сделайте это сейчас. Невесомость вам

понравится, страх уйдет. Жизнь в принципе коротка, а ваша особенно. Отпускайте, будьте смелее.

Вот они, звезды, — на краю поля зрения Антона, по ту сторону лабораторного иллюминатора. Кентавр и Южный Крест, Сириус и Канопус. Перевернутый летний треугольник Альтаира, Денеба и Веги. Антон ухаживает за пшеницей, растущей с рвением, которое он находит то трогательным, то волнующим, то печальным, как вдруг замирает, остановленный сокрушительной чернотой. Не драматическим великолепием парящей вращающейся планеты, а гулкой тишиной всего остального, *Бог знает чем*. Так выразился Майкл Коллинз, когда в одиночестве летел вдоль темной стороны Луны: Олдрин с Армстронгом на той стороне, Земля и все люди на ней там, далеко, а здесь только он и еще Бог знает что.

Коллеги с Земли помогают Шону выйти на связь с друзьями-астронавтами, направляющимися на Луну. Как принято у астронавтов, их диалоги полны преуменьшений. *Поначалу нас, конечно, малость растрясло, но сейчас летим ровно. Виды открываются неповторимые.* Шон отвечает, что тоже хотел бы участвовать в лунной миссии, и в его словах есть и правда, и ложь.

С одной стороны, он желает этого больше всего на свете, с другой — столь же отчаянно тоскует по жене и начинает паниковать от мысли, что мог бы переместиться еще дальше от нее. Луна выпуклая и величественно тучная. Сейчас она находится низко над атмосферой, ее сплющенная нижняя половина похожа на примятую подушку. В бледном свете корабль поднимается на север, пролетает над заснеженными облачными Андами, но вот облака расступаются, и внизу возникает Амазонка, испещренная огненными волдырями.

Хеллоу, говорит Роман в динамик радиоприемника, обращаясь к исчезающей Австралазии. Здрасте.

Внезапно сквозь помехи и шуршание пробивается чей-то голос. Вы меня слышите? Вы слышите меня, прием?

Виток 5, движение вниз

Земля — место круговых систем: роста и разрушения, осадков и испарения; жизнь на ней задают циклические воздушные потоки, перемещающие погоду с континента на континент.

Знать об этом — одно дело, видеть из космоса — другое. Бесконечные циклы погоды. Нелл могла бы наблюдать за ними дни напролет. Прежде чем стать астронавтом, она занималась метеорологическими исследованиями и потому хорошо разбирается в погодных тонкостях. Как Земля перетаскивает воздух. Только взгляни, как ее вращение смещает облака с экватора вверх и на восток. Влажный теплый воздух испаряется с экваториальных морей и по дуге устремляется к полюсам, охлаждается, оседает и уже по другой дуге тянется обратно вниз, к западу. Беспрерывное движение. В то же время эти глаголы — перетаскивать, смещать, тянуться — описывают лишь силу движения, а не его грацию, не его — что? — синхронность/плавность/гармонию. Ни одно слово не передает точного смысла. Дело не в том, что Земля — одно, а погода — другое, а

в том, что они едины. Как лицо не отделить от возникающих на нем выражений, так и Земля неотделима от своих воздушных потоков.

Что за выражение видит сейчас Нелл на этом лице? Она видит тайфун, который стал на девяносто минут больше, на девяносто минут смелее, на девяносто минут ближе к суше. Кто-то нашел бы это выражение гневным, но отсюда, сверху, Земля вовсе не кажется разгневанной. Скорее она имеет непокорный вид, излучает силу и решимость, как лица маори с вытаращенными глазами и высунутыми языками во время исполнения *хаки.*

Нелл фотографирует надвигающийся тайфун. Удивляется, насколько четко видны воздушные потоки, которые образуют пассаты, текут на запад вдоль экватора и поднимают тепло с поверхности океана. Образующиеся из него облака выстраиваются в башни, и эти башни выкачивают из океана энергию: чем теплее океан, тем сильнее шторм. Все это она знает, но никогда не видела собственными глазами столь живо.

Неслабый такой тайфун, говорит Пьетро, подплывая к ней. Они вместе наблюдают, как тайфун берет курс на Филиппины, Тайвань и побережье Вьетнама. Спираль тайфуна разбрасывает облака на сотни миль в разные стороны от его продыряв-

ленного засасывающего глаза.

От вида Филиппин душа в пятки уходит, говорит Пьетро. Клочки земли, которые оказались первыми на очереди. Боюсь, тайфун смоет их в первую же секунду.

Нелл кивает. Я там не раз бывала — занималась дайвингом, говорит она.

А мы с женой проводили на Филиппинах медовый месяц, рассказывает Пьетро. Я нырял в районе рифа Туббатаха. Знаешь, никогда в жизни не видел ничего более умопомрачительного. Я и подумать не мог, что на свете существуют такие формы, такие цвета, такие существа. Еще я погружался вблизи острова Самар. Мы познакомились с одним местным рыбаком и ходили в его дом ужинать.

Люди там потрясающие, кивает Нелл, радушные и открытые. Помню, я занималась дайвингом в бухте Корон среди затонувших кораблей, на озере Барракуда и вблизи Малапаскуа. Однажды мы выехали на рассвете и увидели скатов манта и лисьих акул. Акулы были похожи на серпы, на полированную сталь, они выглядели почти рукотворными, если не смотреть на их серьезные мордочки, а двигались они… словно вообще не двигались; казалось, они не тревожат воду ни

малейшим всплеском. Мне они не попадались, говорит Пьетро, зато китовую акулу видеть доводилось, а тебе? Нет, но мне посчастливилось посмотреть на морского черта — это была моя мечта. И я его встречал, улыбается Пьетро. Боже мой, это было что-то безумное, фантастическое, ярко-желтое. И стаю сардин, добавляет он. Да, говорит Нелл, как подводное чудище, проплывающее мимо тебя. И этот свет, который течет сквозь воду, говорит Пьетро. И эту бездонную синеву, подхватывает Нелл. Свет, цвет, живые существа, кораллы, шелест — да просто все. Да просто все, подтверждает Пьетро.

Что удивляет:
воображение;
причина смерти Джеки Онассис (шишка в паху);
динозавры;
синяя ручка с красным колпачком;
зеленые облака;
дети в галстуках-бабочках.

Когда Тиэ сообщили о смерти матери, она тотчас взяла в руки одну из немногочисленных привезенных с собой личных вещей — фотографию, которую мать отдала ей в день расставания

перед полетом. На снимке мать Тиэ стоит на берегу вблизи их дома. Она молода. Ей двадцать четыре года, Тиэ еще нет на свете, родители только поженились и переехали в дом у моря. Хотя фото сделано июльским — а значит, наверняка знойным — днем, на матери плотное шерстяное пальто. На обороте почерком отца написано: *День высадки на Луну, 1969 г.* Мать хмуро смотрит в небо, где — по-видимому, очень быстро — как раз пролетает чайка. Ее очертания размыты, а фигура матери, напротив, четкая, неподвижная, тонкая и маленькая. Непонятно, на что она так хмуро смотрит — то ли на чайку, то ли на само небо, туда, где, по ее предположению, находится космический корабль «Аполлон».

В детстве Тиэ казалось, что этот снимок наделен некой силой, которую она не понимала и в то же время не ставила под сомнение. Заманчивость невидимой Луны, посадки в неведомом краю, великое событие, которое совершалось в этот день, однако в другом месте — настолько далеком, что казалось мифическим. *День высадки на Луну.* В детстве Тиэ полагала: мама смотрит вверх, потому что наблюдает за происходящим на Луне, причем невооруженным глазом. Еще Тиэ верила, что мама каким-то образом участвовала в этом

действе. Когда на прощание мать отдала ей снимок, Тиэ вдруг вспомнила свои детские догадки, прочувствовала их значимость и силу, с которой прошлое столь незаметно творит будущее. Воскресив в памяти те времена, она осознала, что своей первой мыслью о космосе обязана именно этому снимку.

Теперь под фразой *День высадки на Луну, 1969 г.* есть еще одна надпись, на сей раз рукой матери: *Во имя предстоящей и всех последующих высадок на Луну*. Читая эту строчку, Тиэ отмечает, что матери было совсем несвойственно писать такое, и задается вопросом, не догадывалась ли та о приближении смерти и не пыталась ли передать дочери частичку души. Предположение рождает пустоту в сердце. Тиэ скучает по матери. Скучает по ее твердости, прямолинейности, умению держать дистанцию. Тиэ не сомневается: мать была единственной в своем роде. В самом деле, много ли еще людей лежали в колыбелях в момент взрыва атомной бомбы? Не так уж много. А много ли еще людей потеряли матерей в результате этого взрыва страшным августовским днем? Жизнь матери была спокойной и статичной, совсем не похожей на жизнь Тиэ. Если вдуматься, снимок на берегу — идеальная иллюстрация этой жизни:

мать стоит неподвижно, мир проплывает мимо. В то же время, хотя судьба Тиэ сложилась иначе, своей смелостью она обязана матери. Своей стойкостью, толстокожестью и готовностью к чему угодно, даже к трудному, болезненному и опасному. Радостью предвкушения всего сложного и рискованного. Складом ума летчика-испытателя, который позволяет ей думать о полетах, дышать полетами и мечтать о полетах. А еще спортивным соревнованием со смертью, в котором она, кажется, одерживает верх и которое позволяет ей чувствовать себя непобедимой, неуязвимой. Тихо, неожиданно бесшабашной.

Разумеется, Тиэ понимает, что «непобедимая» — громкое слово. Тем не менее семья, к которой она принадлежит, проскользнула сквозь трещину, сквозь тонкий разлом истории, выискала лазейку и спаслась, пока все вокруг рушилось. В день взрыва бомбы ее дедушка приболел и остался дома с маленькой дочерью, а бабушка отправилась на рынок. Тело бабушки не нашли. От сотрудников завода боеприпасов в Нагасаки, где работал дедушка и где он находился бы, если бы не заболел, мало что осталось. На тот момент после многих лет войны ни один японец не мог похвастаться пышущим здоровьем, все ходили

полуголодными и заражались кто холерой, кто дизентерией, кто малярией или еще чем-нибудь. Разные старые инфекции истязали организмы людей, не имевших надежды на лечение; дедушка Тиэ за некоторое время до этого подхватил какую-то бациллу, и то был первый день, когда он не пошел на работу. Почему, к примеру, не днем раньше? Если бы он был на заводе, то умер бы. Если бы он не остался дома, дочка тоже не осталась бы дома; если бы мать взяла ее с собой на рынок, жизнь малышки оборвалась бы и Тиэ не появилась бы на свет. Ее семья в буквальном смысле проскользнула в разлом судьбы.

Тиэ вглядывается в фотографию. Она висела у них дома на стене, и Тиэ помнит, как мать указывала на нее. Смотри, Тиэ-тян, это я в тот день, когда люди полетели на Луну. Даже сейчас она не понимает, как интерпретировать этот *День высадки на Луну* на берегу, не понимает, что может означать эта странная сцена, это несоответствие изображения и названия. Тиэ всматривается в материнские черты, пытается разгадать смысл хмурого выражения на ее лице и все равно не понимает. Любые ее сегодняшние умозаключения накладываются постфактум и являются не более чем догадками. Почему в детстве Тиэ на стене

висел именно этот снимок? Что в нем такого особенного, информативного или важного? Изображена ли на нем мать, говорящая дочери: сейчас я показываю тебе, что возможно в твоей жизни, показываю едва ли не безграничность того, что по силам сделать людям, то есть и тебе тоже? Тогда к чему этот суровый взор, почему в глазах не заметно ни надежды, ни воодушевления? Или она имела в виду другое: на Луну летят несколько человек, все они мужчины, и если ты считаешь, что среди них есть хоть одна женщина, тем более не белая и не американка, ты заблуждаешься. Сама посуди, эта компания — сборище здоровых и крепких мужчин, несущих на Луну свою мужественность, воплощенную в этих ракетах, двигателях, полезной загрузке, в устремленных на них взглядах всего мира. А мир для них — игровая площадка, испытательный полигон. Не вздумай с ними тягаться: любая попытка конкурировать закончится для тебя ощущением собственной неполноценности, подавленности и уныния. Стоит ли участвовать в состязании, которое тебе никогда не выиграть, стоит ли обрекать себя на неудачи? Знай, дочь моя, что ты ничуть не хуже их, береги это знание в сердце и проживай свою малозначимую жизнь как можно

достойнее. Ты сделаешь это ради меня?

Или она хотела сказать: посмотри на этих мужчин, летящих на Луну, дитя мое, и устрашись того, на что способны люди, — мы ведь знаем, что все это означает, знаем, как звучат фанфары и сияет дух новаторства, знаем о чуде расщепленного атома и знаем, к чему могут привести эти достижения. Твоя бабушка узнала это особенно хорошо, когда сошла с тротуара, услышав неведомый гул и увидев вспышку, которая казалась одновременно далекой и настолько близкой, словно возникла в ее собственной голове, и в смятении она обрела зерно знания о том, чем это может обернуться, знания, которое мгновенно пробудило в ее душе видение обо мне, ее первом и единственном ребенке, и это видение стало последним в ее жизни, и потому я говорю тебе, Тиэ, мой первый и единственный ребенок: ты можешь с восхищением взирать на этих мужчин, чьи ноги ступали по Луне, но ты никогда не должна забывать цену, которую человечество платит за мгновения славы, потому что человечество не знает, когда остановиться, не знает, когда закончить работу, и потому своим молчанием я говорю тебе: будь бдительна.

И хотя первое из возможных посланий матери

представляется Тиэ наименее вероятным, она надеется, что приняла как руководство к действию именно его; даже если этим снимком мать намекала на нечто иное, Тиэ уловила именно такой смысл, и потому сейчас она здесь. Мысль матери она поняла так: просто посмотри на этих мужчин, высадившихся на Луну, просто посмотри, что осуществимо, если у тебя есть воля, вера и возможности, и все это у тебя будет, только пожелай, и если это подвластно им, то и тебе это тоже подвластно, и под словом «это» я подразумеваю все что угодно Что бы то ни было. Все. Не трать попусту жизнь, столь чудесно тебе дарованную, ведь я, твоя мать, вполне могла бы оказаться вместе со своей матерью на рынке в тот день, если бы хоть какая-то малость сложилась иначе и я вошла бы в число самых юных жертв атомного взрыва, я наверняка погибла бы, а ты никогда бы не родилась. Но ты родилась, и каждая из нас сейчас там, где она есть, а эти мужчины сейчас на Луне, так что пойми: ты на победившей стороне, ты побеждаешь и, возможно, сумеешь прожить жизнь, которая будет чтить и приумножать эту данность. И Тиэ молча отозвалась на невысказанную реплику матери: да, я поняла.

Будучи здесь, в каюте, она молча кивает, хоть

и не уверена, что на самом деле поняла слова матери. В конце концов, это всего лишь фантазии и проекции, и не исключено, что все они ошибочны.

Виток 6

ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ, написано на двери российского туалета.

Соответственно, на двери американского туалета написано: ТОЛЬКО ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ, ЕВРОПЕЙСКИХ И ЯПОНСКИХ АСТРОНАВТОВ. *В силу непрекращающихся политических разногласий будьте любезны пользоваться своим собственным национальным туалетом.*

Концепция национального туалета изрядно развеселила членов экипажа. Отолью-ка я во имя нации, острит иногда Шон. Или Роман шутит: народ, я ненадолго — метнусь за родину по-большому и сразу обратно.

Отныне вы должны платить нам за пользование нашим санузлом, заявили российские чиновники американским, европейским и японским, на что те ответили: не больно-то и надо было, наш санузел в любом случае лучше вашего. А вы отныне не имеете права пользоваться нашим велоэргометром. Тогда вы лишаетесь доступа к нашим продуктовым запасам. И так продолжается уже больше года.

Через камеры на борту станции сотрудники центра управления полетами наблюдают, как члены экипажа бесстыдно пренебрегают этими директивами, и понимают: попытки что-то изменить ни к чему не приведут. Астронавты и космонавты похожи на кошек, заключают они. Бесстрашные, невозмутимые. Таких невозможно загнать в стадо.

Мы вечно путешествуем, думают члены экипажа, годами находимся в дороге, не останавливаясь ни на миг; вечно живем на чемоданах и во временных пристанищах — в гостиницах, космических и тренировочных центрах; ночуем на диванах у друзей, переезжая с одного курса обучения на другой. Проводим недели в пещерах, пустынях и на подводных лодках, проверяя свой характер на прочность. Если у нас и есть что-то общее, так это наша готовность не принадлежать ничему и в то же время принадлежать всему, чтобы добраться сюда, на этот почти мифический корабль. На этот последний аванпост, для которого не важны границы, который не принадлежит ни одной нации и рвет оковы биологической жизни. При чем здесь туалет? Какая польза от дипломатических игр на космическом корабле, запертом в нежном безразличии околоземной

орбиты?

А мы? Мы едины. По крайней мере, на данный момент мы едины. Здесь, наверху, у нас есть только то, чем мы можем поделиться или что можно переработать. Правда такова, что нас нельзя отделять друг от друга — иначе нас просто не станет. Мы пьем переработанную мочу друг друга. Дышим переработанным воздухом из легких друг друга.

Надев VR-гарнитуру, они плавают по лаборатории, и приветливый голос в наушниках просит: посчитайте, сколько секунд перед вашим взором находится синий квадрат. Секунд восемь, прикидывают они вслух. Отметьте этот ответ на ноутбуке. Тридцать шесть секунд. Двадцать. Три. Двадцать девять. Спасибо, говорит голос, и, кажется, его обладатель действительно ими доволен. Это было классно, продолжает он. Желаете выполнить еще одно задание? Просто нажмите «Старт», когда будете готовы.

Теперь они удерживают взгляд на синем квадрате в течение разных промежутков времени: пять секунд, девятнадцать, четыре, тридцать восемь. Затем измеряется время реакции — как быстро они нажимают кнопку, когда появляется синий квадрат. Вы отлично справились, хвалит

голос. Желаете выполнить еще одно задание? Просто нажмите «Старт», когда будете готовы. Впервые за этот день по левому борту в поле зрения появляется в отполированном до блеска утреннем свете Америка, но вскоре тоже исчезает из виду.

Отсчитайте шестьдесят секунд и коснитесь экрана, когда закончите.

Отсчитайте девяносто секунд и коснитесь экрана, когда закончите.

Шестьдесят, а потом девяносто секунд словно пропадают где-то на полпути, сначала им кажется, что они считают слишком быстро, потом — слишком медленно; перескакивают с сорока двух на сорок пять, тотчас укоряют себя и зависают на пятидесяти. Это было классно, говорит голос.

Пока они смотрят на синие квадраты, корабль минует экватор и происходит смена караула — появляется Северное полушарие, а Луна поворачивается другой стороной. Ее усиливающийся свет, который еще недавно был слева, теперь сияет справа. Блинчик перевернулся на сковороде. Звезды редеют. Плотно усеянное астральное поле, обращенное к центру Млечного Пути, пропадает, и теперь они видят далекие звезды на его

наружных спиралях, где Галактика теряется в световых годах, нечто становится чем-то меньшим, а что-то меньшее переходит в ничто. Затем ночь сменяется днем. На горизонте над Венесуэлой прорывается первый ослепительный луч света, и они знают, что это Солнце. И тут правая сторона земной кривизны превращается в мерцающий ятаган. Потоки серебра смывают звезды, и темный океан превращается в мгновенный рассвет.

Вы отлично справились, говорит голос. Вы не дали ни одного верного ответа! Увы, каждый раз, когда синий квадрат появлялся на пятнадцать секунд, вы называли число десять, а каждая отсчитанная вами минута затягивалась наполовину, а то и еще больше. Увы, утешает голос, вы пребываете в невесомости уже очень долго и ваши внутренние часы сбились. Увы, просыпаясь утром, вы не понимаете, где находится ваша рука, пока не посмотрите на нее, ведь, не получая обратной связи от веса, вы теряете контакт со своими конечностями. (Да куда же я ее задевал? — паникует мозг. Где я мог ее оставить?) Увы, в космическом пространстве ваши руки и ноги теряются, а теряясь в пространстве, они теряются и во времени. Вы утрачиваете контроль. Вы хватаете проплывающие мимо

плоскогубцы, и вам кажется, на это уходит доля секунды, тогда как на самом деле часы успевают отсчитать две, а то и три вялые секунды. Время вокруг вас становится ленивым и неуклюжим. Ваш разум уже не тот острый инструмент, каким был когда-то. Увы, надетые на ваше запястье часы «Омега спидмастер» с хронографом, тахиметром и коаксиальным спуском не могут осознать, что с момента пробуждения сегодняшним утром вы совершаете уже седьмой виток вокруг Земли и что солнце скачет вверх-вниз, будто заводная игрушка, вверх-вниз. Увы, ваш мир стал эластичным, запутанным и неправильным: сейчас весна, а через полчаса наступит осень, и ваши биологические часы сбились, чувства замедлились, а ваше сверхбыстрое супер-эго астронавта сделалось чуть более расхлябанным, инертным и плавным, как морские водоросли или плавающие обломки. Желаете выполнить еще одно задание? Просто нажмите «Старт», когда будете готовы.

Секунды растворяются, значат все меньше и меньше. Время сжимается до точки на чистом белом поле, особенной и бессмысленной, затем раздувается в огромное бесформенное нечто. Они жмут на курсор, когда их просят, быстрые, как молния, но на самом деле совсем не быст-

рые. Внизу в полуденной дымке тянется Европа, облака обрисовывают контуры берегов. Вот юго-западный носок Англии, осторожно пробующий на ощупь Северную Атлантику, вот Ла-Манш, моргни — и ты его пропустил, вот Брюссель и Амстердам, Гамбург и Берлин, пусть и нарисованные невидимыми чернилами на серо-зеленоватом фетре. Вот Дания прыгает дельфинчиком в сторону Норвегии и Швеции, вот Балтийское море и страны Балтии, а вот уже и Россия. Европа появилась и пропала. Какая жалость, все так же приветливо говорит голос, что вы существуете во всех часовых поясах и ни в одном из них; что вы парите вдоль долгот в брюхе этого огромного металлического альбатроса; что от вашего мозга требуют большего, чем он способен сделать. Какая жалость, что все происходит столь быстро. Что один континент исчезает и уступает место следующему; что горячо любимая Земля постоянно от вас ускользает. Что главное путешествие всей вашей жизни пролетит мгновенно — так же, как ваша жизнь пролетает в восприятии вашего стареющего мозга, на фоне замедления работы которого все словно убыстряется. Какая жалость, что, не успев оглянуться, вы снова усядетесь в посадочную капсулу с тепловым экраном и па-

рашютом, огненным шаром прорветесь сквозь атмосферу, оставляя за собой плазменный след, и, даст бог, приземлитесь на бескрайней равнине, а когда вас вытащат из капсулы, ваши ноги будут как ершики для чистки трубок, а вместо слов из вашего рта зазвучит лишь нечто нечленораздельное.

Свет на краю очередного континента тускнеет. В отраженном солнечном свете море кажется плоским, цвета меди, по воде ползут длинные тени облаков. Азия появляется и пропадает. Австралия — темная безликая фигура на фоне этого последнего вздоха света, уже обретшего платиновый оттенок. Все погружается в полумрак. Горизонт Земли, вспоротый солнечным лучом на недавнем рассвете, стирается. Тьма разъедает резкость его линий, будто Земля растворяется. Планета растекается, точно фиолетовая акварель по бумаге.

Виток 7

Орбита мчится на север. Когда они приближаются к Центральной Америке, сумеречная зона, она же терминатор, проносится под ними, волоча за собой утро. Солнце восходит в седьмой раз за этот день, быстро и безошибочно, свет достигает их раньше, чем дотягивается до Земли, и превращает корабль в горящую пулю.

Если ты побывала в открытом космосе хотя бы раз, думает Нелл, для тебя вид из иллюминатора уже не будет прежним. Это все равно что смотреть сквозь прутья решетки на зверя, вместе с которым ты когда-то бегала наперегонки. На зверя, который мог бы сожрать тебя, но предпочел подпустить к себе, позволил тебе ощутить пульсацию своей неповторимой дикости.

Выйдя в открытый космос на прошлой неделе, поначалу Нелл почувствовала, что падает. На мгновение она замерла от страха. Когда люк открывается, ты выходишь из шлюзовой камеры в космос, вырываешься на свободу и отцепляешься, видишь только два объекта — космическую станцию и Землю. Тебе командуют: не смотри

вниз, думай о задаче, сосредоточивайся на руках, пока не адаптируешься. Она посмотрела вниз — не могла не посмотреть. Под ней на высокой скорости кувыркалась Земля. Ошеломительная нагая Земля. Отсюда она не выглядела твердым телом, ее поверхность была текучей, мерцающей. Нелл перевела взгляд на руки, такие огромные и призрачно-белые в этих перчатках, и увидела Пьетро. Тот скользил в кромешной тьме рядом с Нелл, спектрометр, который они должны были установить, парил возле него, и Пьетро напомнил Нелл птицу, нежданно-негаданно выпущенную из клетки на волю.

Ты проверяешь фалы; ты перемещаешься вокруг корабля, держась за поручни; ты обязана следить за оборудованием, которое сюда принесла, — за комплектом батарей, прикрепленных к скафандру, за антенной, блоком или сменной панелью; ты не должна путаться в фалах, но в скафандре центр тяжести смещается и тебе трудно контролировать свои действия. Ты вспоминаешь о водных тренировках и о том, как хорошо держит стоячая вода в бассейне. В отличие от нее космос свиреп, он стремится (пусть и без всякого дурного умысла, а лишь из пустого безразличия) выбить тебя из равновесия и уничтожить, и тут ты вновь

осознаешь, что с ним не нужно бороться — к нему нужно приспосабливаться. Под таким углом зрения выход в открытый космос становится похож на серфинг, и ты уже внимательнее смотришь вниз, точно желая удостовериться, что Земля и ее моря — не сон и не мираж, и вот она опять синеет вдали, под облаками; по сравнению с траверсами корабля, вокруг которого ты плывешь, она кажется невероятно мягкой. Этот вид совершенно не пугает тебя, напротив, от его великолепия твой разум взрывается. Привязи раскачиваются, ноги болтаются, скафандр больно натирает локти, ты цепляешься за поручни, взбираясь по траверсам. Слева на некотором отдалении вращается по своей орбите спутник связи.

Она провела снаружи несколько часов — почти семь, как ей сказали. Понятие времени в открытом космосе утрачивается. Ты устанавливаешь или ремонтируешь то, что тебе поручено установить или отремонтировать; фотографируешь люки, внешние научные приборы, собираешь мусор, прихватываешь пару-тройку из десятков тысяч обломков сброшенных или взорвавшихся спутников, ступеней ракет-носителей и кораблей; куда бы человечество ни направлялось, непременно оставляет после себя разрушения

— возможно, природа всякой жизни заключается именно в этом. Подкрадываются сумерки, и Земля превращается в ковер из лазурных, лиловых и зеленых пятен; ты поднимаешь козырек светофильтра и зажигаешь фонари; во тьме вспыхивают звезды, внизу тянется сверкающая драгоценными камнями Азия, а ты работаешь в своем световом конусе, пока за спиной снова не взойдет солнце и не пустит блики по глади океана, только какого именно — тебе сейчас не определить. Дневной свет проливается синевой на заснеженные ландшафты, возникающие в поле зрения, и на черном фоне космоса край Земли переливается легким мальвовым оттенком, заставляющим живот сжиматься от болезненного восторга. Под тобой расстилается пустыня — вероятно, Гоби, в то время как операторы с Земли дают успокаивающие указания, а твой коллега листает инструкцию, прикрепленную к рукаву его скафандра; через козырек ты видишь его черты, этот спокойный овал человеческого лица в бескрайней безымянности окружающего пространства. Солнечные батареи напитываются светом, но вот сумерки возвращаются, и силуэт коллеги на фоне заката чернеет. Ночь выползает из-под Земли и поглощает ее.

Нелл видела сны о полетах, будучи ребенком, а затем и подростком. Остальные пятеро тоже, каждый из них. Что бы они ни смотрели, сны-вспышки о стремительном движении вверх или длинные и медленные видения о разведывательных экспедициях, — в любом случае это были сны об освобождении и о свободе. Полеты, которые они совершали или продолжают совершать во сне, являются для них ближайшей аналогией с перемещением в космосе; сновидения исполнены той же невесомой легкости и того же ощущения чуда, ведь тяжелое бескрылое тело неспособно парить, тем более столь плавно и мягко, однако именно это они сейчас делают здесь, причем так естественно, словно летать — их врожденное свойство. Поверить в подобное сложно. Но еще сложнее поверить в кое-что другое. Сложно поверить, насколько черен космос вокруг сияющей Земли, которая поглощает весь свет, — а еще сложнее поверить в существование чего-либо помимо этой черноты, которая живет, дышит и манит. Если Нелл и боялась небытия, то, оказываясь в нем, черпала из него необъяснимое утешение; если она чего-то и жаждала, так это возможности растянуть фал на несколько тысяч миль и погрузиться в небытие на максимальную

глубину.

Воюя с пистолетной рукояткой какого-нибудь инструмента, усилителем крутящего момента и старыми заевшими болтами, для раскручивания которых тебе так недостает силы тяжести, ты бросаешь взгляд на свое парящее на тросе тело, и там, внизу, в двухстах пятидесяти милях под ногами, тоже парит сверкающий шар; он напоминает галлюцинацию, творение света, нечто неосязаемое, неземное — пожалуй, вот наиболее точное слово для его описания. Этот шар просто не может быть реальным. Забудь все, что знаешь. Ты оглядываешься на обширную космическую станцию и ощущаешь, что сейчас твой дом — это она, а не Земля. Внутри корабля еще четыре человека. Но здесь, снаружи, забудь все, что знаешь. Сердца Нелл и Пьетро — единственные, которые бьются в космосе между земной атмосферой и невообразимыми далями за пределами Солнечной системы. Их бьющиеся сердца мирно спешат сквозь космические просторы, никогда не оказываясь дважды в одном и том же месте. Никогда больше не возвращаясь в одно и то же место.

Когда выходы в открытый космос завершались и члены экипажа вшестером обсуждали их проведение, каждый упоминал о дежавю — они знали,

что уже бывали там прежде. Роман однажды предположил, что, возможно, это знание объяснялось неисследованными воспоминаниями о пребывании в утробе матери. Паря в космосе, я ощущал именно это, сказал он. Я чувствовал себя так, словно еще не родился.

Вот Куба, розовеющая в лучах восхода.

Океан всей поверхностью отражает солнечный свет. Бирюзовые отмели Карибского моря и горизонт похожи на Саргассово море.

Вот бы оказаться там, думает Нелл, и так, чтобы между тобой и всем этим не было ни стекла, ни металла. Только скафандр со специальным костюмом, наполненным охлаждающей жидкостью для защиты от солнечного тепла. Только скафандр, кусок веревки и твоя малозначащая жизнь.

Только твои ноги, барахтающиеся над континентом. Левая закрывает Францию, правая — Германию. Рука в перчатке заслоняет Западный Китай.

Первое время в космосе их особенно привлекают ночные панорамы — великолепные инкрустации городских огней и ослепительные поверхности рукотворных объектов. Ночь с ее

плотно вышитыми гобеленами населенных пунктов придает Земле некую решимость, бойкость и четкость. Почти каждая миля береговой линии Европы обитаема, контур всего континента очерчен с поразительной точностью, созвездия городов соединены золотыми нитями дорог. Эти же нити тянутся над Альпами, как правило, сероголубыми от снегопадов.

Когда за иллюминаторами ночь, их взгляды невольно ищут родные края — вот Сиэтл, Осака, Лондон, Болонья, Санкт-Петербург, а вон там Москва — Москва, огромное световое пятно, будто Полярная звезда посреди пронзительно ясного неба. Дух захватывает, насколько наэлектризована ночь. Насколько широко распространена жизнь. Насколько отчетливо говорит планета, обращаясь к окружающей ее бездне: тут кое-что есть, тут кое-кто есть. И насколько при всем этом преобладает ощущение дружелюбия и мира, ведь даже ночью на Земле существует лишь одна рукотворная граница — длинная цепочка огней между Пакистаном и Индией. Больше цивилизации нечего сказать по вопросу разделения, тем более что с наступлением дня и эта граница исчезает.

Вскоре отношение меняется. Проведя пример-

но неделю в благоговении перед видами ночных городов, члены экипажа ощущают, как их чувства начинают расширяться и углубляться, и постепенно проникаются большей любовью к Земле при свете дня. Безлюдная простота континентов и морей. Кажется, будто планета дышит, является самостоятельным живым существом. Идеальность мира, его равнодушное вращение в равнодушном пространстве, превосходящее всякие слова. Черная дыра Тихого океана, превращающаяся в золотую равнину, или Французская Полинезия, рассеянная внизу, острова — образцы клеток, атоллы — опаловые ромбы; веретено Центральной Америки, которое теперь скользит под ними, открывая вид на Багамские острова, Флориду и дугу дымящихся вулканов на Карибской плите. Узбекистан посреди охристо-коричневых просторов, заснеженная горная красота Кыргызстана. Невообразимые переходы синих тонов чистого и искрящегося Индийского океана. Абрикосовая пустыня Такла-Макан, заштрихованная тонкими руслами рек, то сближающихся, то снова разбегающихся в стороны. Диагональный путь галактики как приглашение в светобоязненную пустоту.

Тут-то и возникают несоответствия. Во время

обучения их предупреждали о проблеме диссонанса. Им объясняли, что они будут ощущать, раз за разом взирая на эту бесшовную Землю. Вы увидите ее полноту, говорили им, увидите отсутствие границ, кроме тех, что отделяют сушу от моря. Не различите ни одной страны, в иллюминаторах будет виднеться лишь единый крутящийся глобус, который понятия не имеет ни о каком разделении, не говоря уже о войнах. И вас охватят противоречивые эмоции. Радостное возбуждение, напряжение, воодушевление, печаль, нежность, гнев, надежда, отчаяние. Сами знаете, войны бесчисленны, а во имя сохранения границ люди убивают и умирают. Возможно, сверху вы увидите на поверхности Земли крошечный выступ, напоминающий горный хребет, или прожилку, в которой угадывается полноводная река, но не более того. При взгляде сверху не видно ни стен, ни барьеров — нет народов, нет войн, нет коррупции и нет особых поводов для страха.

Вскоре у каждого из них возникает желание. Желание — нет, истовая потребность — защитить эту огромную и в то же время крохотную Землю. Это творение чудесной и фантастической красоты. То, что за неимением лучших вариантов безошибочно воспринимается ими как

дом. Место без границ, парящая драгоценность, столь ослепительно яркая. Неужели люди не могут жить в согласии друг с другом? В гармонии с Землей? И это не робкий вопрос, а настойчивый призыв задуматься и что-то предпринять. Неужели мы не способны перестать тиранить, разрушать, грабить и растрачивать то единственное, от чего зависит вся наша жизнь? Разумеется, они в курсе новостей, они знают историю; то, что они испытывают эту надежду, не превращает их в наивных дурачков. Что же им делать? Как поступить? И есть ли польза от слов? Они — люди, которым открылась Божественная точка зрения, и в этом заключается одновременно и благословение, и проклятие.

Кажется, за новостями лучше не следить — на душе спокойнее будет. Кто-то их читает, кто-то нет, но если воздерживаешься от этого, жить становится проще. Когда они наблюдают за планетой, им сложно различить место, где разыгрывается политическая пантомима из новостной ленты, и эта пантомима воспринимается ими как оскорбление величественной сцены, на которой ее показывают, как нападки на кого-то бессловесного и кроткого либо как нечто совершенно не заслуживающее внимания. Послушав ново-

сти, они, бывает, сразу ощущают усталость или нетерпение. Репортажи и сообщения — сплошная мешанина обвинений, приправленных страхом, гневом, клеветой, скандалами, — передаются на некоем языке, который одновременно слишком прост, слишком сложен и кажется околесицей в сравнении с единственной в своем роде, четкой и звонкой нотой, издаваемой парящей планетой, которую они видят каждое утро после пробуждения. Мир отряхивает все это с себя с каждым оборотом. Если они вообще включают радио, чаще всего слушают музыку, юмористические программы, спортивные трансляции, аудиоспектакли — словом, то, что в одну секунду имеет значение, а в следующую уже нет, то, где люди приходят, уходят и не оставляют после себя следов. Со временем и эти передачи они включают все реже и реже.

Но однажды настает день, когда в их сознании совершается некий сдвиг. Настает день, когда они смотрят на Землю и постигают правду. Вот бы политика на самом деле была всего лишь пантомимой. Просто фарсом, бездушной, а порой и безумной пьесой, герои которой большей частью оказались там, где сейчас находятся, не благодаря своим революционным идеям, проницательно-

сти или мудрости, а лишь потому, что в своем стремлении к власти проявили себя более громкоголосыми, хвастливыми и беспринципными, чем другие. Если бы на этом история и закончилась, все было бы не так уж плохо. Однако они осознают, что политика — не пантомима, ну или, по крайней мере, не только пантомима. Политика — это сила, настолько мощная, что именно она сформировала каждый объект на той Земле, которую они считали неуязвимой перед любыми действиями человека.

Каждое кружащееся красное или неоновое цветение водорослей в загрязненной, нагревающейся и опустошенной Атлантике в значительной степени порождено политикой и людским выбором. Каждый отступающий или уже отступивший ледник, каждый гранитный отрог каждой горы, впервые оставшийся без снежного покрова, который не таял никогда прежде, каждый сгоревший или горящий лес или куст, каждый уменьшающийся ледяной щит, каждый пылающий разлив нефти. Мексиканское водохранилище Вальсекильо, которое утратило прежний цвет из-за вторжения водяных гиацинтов, питающихся неочищенными сточными водами. Потерявшие форму и вышедшие из берегов реки

в Судане, Пакистане, Бангладеш или Северной Дакоте. Розовеющая земля на месте испарившихся озер, коричневые пятна скотоводческих ранчо в Гран-Чако, где когда-то рос тропический лес, расширяющаяся зелено-синяя геометрия прудов-испарителей, где из соли добывается литий. Перегородчатые розовые оттенки тунисских солончаков, смещающийся контур береговой линии, где море кропотливо завоевывается метр за метром и превращается в сушу, на которой можно будет селить новых и новых людей, или, наоборот, смещающийся контур береговой линии, где суша метр за метром завоевывается морем, которому нет дела до того, что людей на Земле становится все больше и им нужно где-то селиться. Исчезающий мангровый лес в Мумбаи или сотни акров теплиц, из-за которых вся южная оконечность Испании отражает солнечный свет как никогда прежде ослепительно.

Отсюда, сверху, влияние политики настолько очевидно, что они не понимают, как могли поначалу его не замечать. Оно проявляется в каждой детали открывающейся панорамы, точно так же, как скульптурирующая сила гравитации придала планете шарообразный вид, направляла и отводила приливы, оттачивавшие берега ее

континентов, политика формировала, придавала вид и оставляла следы на каждом шагу.

Они понемногу знакомятся с политикой желания. Глядя вниз, начинают видеть политику роста и приобретательства, миллиард экстраполяций стремления к большему. С какого-то момента для этого им уже не нужно смотреть вниз, ведь они сами являются одной из таких экстраполяций, причем более, чем кто-либо другой, — на борту ракеты, ускорители которой при старте сжигают столько же топлива, сколько и миллион автомобилей.

Планета сформирована невероятной силой человеческого желания, изменившей все: леса, полюсы, водоемы, ледники, реки, моря, горы, береговые линии, небо. Планета, контуры и ландшафты которой созданы желанием.

Виток 8, движение вверх

Если знать, куда смотреть, взять большой объектив и включить зум, можно увидеть искусственные кратеры в пустыне Аризоны, сооруженные специально для того, чтобы создать подобие лунной поверхности. Хотя под действием эрозии эти кратеры постепенно разрушаются, именно здесь в шестидесятые годы Армстронг и Олдрин отрабатывали посадку на Луну.

Нью-Мексико, Техас, Канзас, штаты без границ и невидимые города на широкой высохшей коровьей шкуре юго-западного американского Солнечного пояса. Вытянутые ветром облака реют над ними тонкими лентами. Когда солнце отражается на фюзеляжах летящих самолетов, возникают вспышки; самолетов не видно, видны только вспышки. Широко растянутая шкура пестрит бессмысленными царапинами, на поверхности темнеют вмятины — это, конечно же, реки, но в них ничего не течет. Они выглядят недвижными и высохшими, абстрактными и странно произвольными. Напоминают длинные пряди выпавших волос.

Быстро приближающийся изгиб Земли приобретает мшистый оттенок — почва здесь уже не такая засушливая; затем возникает палец синего цвета, переходящего в глубокий черный. Мичиган, озеро Верхнее, Гурон, Онтарио, Эри. В лучах полуденного солнца середины озер напоминают плющеную сталь.

Наступает прошлое, будущее, прошлое, будущее. Вечное сейчас, никогда не наступающее сейчас.

Часы на борту петляющего космического корабля показывают пять вечера. Внизу, на Земле, где как раз появляется Торонто, все еще полдень. На другом конце света уже настало завтрашнее утро — на другом конце света они будут уже через сорок минут.

Утром тайфун порождает ветры со скоростью около ста восьмидесяти миль в час. Бушует на Марианских островах. Из-за распространения более теплых вод уровень моря у побережья островов успел подняться, и теперь, когда ветры выталкивают море к западным краям его бассейна, уровень воды продолжает возрастать, и пятиметровый штормовой нагон захлестывает острова Тиниан и Сайпан. Кажется, на них сбросили кассетные бомбы: окна выбиты, стены обвалива-

ются, мебель летает, деревья раскалываются.

Ни один прогноз не предвидел стремительного роста этого тайфуна, который за двадцать четыре часа из легкой угрозы со скоростью семьдесят миль в час посреди океана превратился в атакующую силу, устремляющуюся к суше. Видя последние снимки тайфуна, метеорологи повышают его категорию до пятой; кто-то считает, что это просто тайфун, кто-то — что это супертайфун, но все, что им подвластно, это лишь как можно точнее предсказать, когда он доберется до побережья Филиппин. По их словам, это случится в десять утра по местному времени, то есть здесь, на корабле, будет два часа ночи.

На другой стороне Земли все это еще только в будущем, в сутках, которые пока не начались. Экипаж выполняет последние на сегодня задачи. Борясь с послеобеденной сонливостью, Антон съедает энергетический батончик. Шон откручивает четыре крепления на кронштейне детектора дыма, требующего замены. Тиэ осматривает бактериальные фильтры. Трасса полета идет наверх, над Америкой и дальше, над Атлантикой, такой древней, мягко серебристо-серой, точно выцветшая брошь. Полушарие омывается спокойствием. Без особых церемоний они делают

еще виток вокруг одинокой планеты. Примерно в трехстах милях от ирландского побережья этот виток завершается.

Скользя через лабораторию, Нелл заглядывает в иллюминатор и на водянистом горизонте видит первые контуры Европы. Она теряет дар речи. Теряет дар речи от осознания того, что ее любимые люди находятся там, внизу, на поверхности этого величественного и великолепного шара, словно только что обнаружила, что всю свою жизнь прожила в королевском дворце. Люди живут там, думает она. Я живу там. Сегодня это представляется ей невероятным.

Роман, Нелл и Шон прилетели сюда три месяца назад — тройка астронавтов, втиснутая в модуль размером с двухместную палатку. Они пристыковались, когда головка стыковочного механизма корабля аккуратно проникла в приемный конус станции. Мягкий захват. Пчела, влетающая в цветок. Восемь механических крюков корабля зафиксировали модуль. Жесткий захват, подтверждено, жесткий захват завершен. Затишье внутри модуля, минутная пауза. Роман, Нелл и Шон встретились взглядами и дали друг другу пять летающими руками, которые пока не понимали, что такое невесомость. Роман слегка сжал

пальцами подаренную сыном фетровую луну, которая во время полета болталась у них перед глазами, а теперь раскачивалась вверх-вниз. В грандиозном космическом пространстве даже этот крохотный талисман стал чем-то возвышенным. Корона безграничных возможностей венчала все вокруг. Они едва могли говорить.

Тишина, снова тишина и опять тишина, которая расцветала в сердцах экипажа. Шесть часов головокружительной скорости, а теперь ничего. Прибыли в гавань. Неужели каких-то шесть часов назад они ощущали под ногами твердую поверхность? Вытяните ноги, вытащите себя из ложемента в орбитальный бытовой отсек и распрямите сгорбившуюся спину.

Им пришлось ждать около двух часов, пока шла проверка на герметичность и выравнивалось давление между двумя аппаратами. По ту сторону люка ждали участники экипажа, прилетевшие сюда тремя месяцами ранее, — Антон, Пьетро, Тиэ. Они стучали по люку, тук-тук, и с той стороны им тоже отвечали стуком. Проделав столь долгий путь, теперь они находились в каких-то восемнадцати дюймах от внутренней части космического корабля, который станет их домом на несколько месяцев, в каких-то восемнадцати дюймах от все-

го, к чему так долго стремились. Тем не менее они были вынуждены ждать и ждать в своего рода аванзале, который в определенном библейском смысле представлялся паузой между земной жизнью и загробным миром. Можно сказать, эти два часа вы не существуете ни в одном из мыслимых вариантов существования. Ничто из того, что вы когда-либо испытывали, не испытывалось так далеко от поверхности Земли, и о том, что вам предстоит испытать, сейчас можно только догадываться. А еще вы измотаны, как никогда прежде. А еще вы не верите, что оказались в невесомости, не верите, что гнусавые голоса, которыми вы разговариваете, — ваши.

Они терпеливо дождались, когда ртутный столб покажет, что давление сравнялось, — семь четыре шесть, семь четыре семь. Наконец люк можно было открыть. С трудом оторвав взгляд от манометра, Роман установил ручку, та стала медленно поворачиваться, а с той стороны послышались голоса: *готово, ага, все получилось.* Преогромная усталость и бессилие, с которыми отворялся люк, контрастировали с головокружительной волной эйфории, захлестывавшей Романа. Захлестывавшей каждого из них. Раздался неуверенный смех, появились лица: Пьетро, дружище; Тиэ,

дорогая моя; Антон, брат. Перед ними возник модуль, который они изучили вдоль и поперек во время имитируемых полетов, их тела кое-как переместились в люк, и внезапно они все вшестером заполнили маленькое пространство, точно клубок потрясенной жизни. Шквал рукопожатий и долгих объятий, восклицаний: привет, *хеллоу;* добро пожаловать, *велкам;* боже мой; поверить не могу; мы сделали это; вы сделали это; добро пожаловать и с возвращением. Свист. По традиции русского гостеприимства Антон поднес хлеб-соль. На самом деле, конечно, крекеры и соль в кубиках, и тем не менее. Они все угостились.

Так продолжалось лишь несколько мгновений, а затем, еще не успев этого осознать, они уже нацепили гарнитуру и микрофоны, а с экрана на них смотрели сияющие лица близких. Правда, видели они не свои семьи и не свои гостиные на заднем плане, а что-то, что знали по другой жизни и сейчас воспринимали как смутное воспоминание. Они бормотали какие-то фразы, которые тотчас стирались из памяти, обрывочные мысли разлетались в свободном падении, руки и ноги жили какой-то своей жизнью, а зрение затуманивалось от перегрузки. Даже Роман, который уже был здесь дважды, чувствовал себя так. На

повторную адаптацию тоже требуется время. Сначала кажется, будто тебя хорошенько отдубасили. Затем ты смотришь в иллюминатор и видишь Землю — глыбу турмалина, да нет, дыню, да нет, глаз — сиреневое, оранжевое, миндальное, лиловое, белое, пурпурное мятое лакированное великолепие.

Ночью в бредовых снах перед взором Романа крутилась фетровая луна. Ему снился сын, который то страдал, то попадал в беду. Боль вонзалась в лоб топором, и Роман тревожился, что звуки его рвоты мешают остальным спать. Шон в американском сегменте беспокоился из-за того же.

Наутро все — абсолютно все — было новым. Вынутая из пакетов одежда оказалась мятой, зубные щетки и полотенца для рук пока лежали нераспакованными. Хрустящие новенькие кроссовки болтались на стопах, скукожившихся от плохого кровоснабжения, — здесь кровь приливала к верхней части тела, и от этого с лиц не сходило выражение сонного удивления. Казалось, Земля по ту сторону иллюминаторов возникла в этот же день и одновременно являлась прародительницей всего в мире. Их мысли вновь были целомудренными. Тошнота отступила, они чувствовали себя промытыми дочиста.

Нелл и Шон, впервые очутившиеся в космосе, учились у Романа искусству передвижения. Твое тело парит, летает, словно ты вовсе не человек! Ты можешь поплавать в воздухе, хотя голова, конечно, пойдет кругом. А пока будешь плыть, повторяй про себя: медленно — это плавно, плавно — это быстро, медленно — это плавно, плавно — это быстро. День за днем путы их прежней жизни рвутся одна за другой, и все, чем они являются сейчас, — новое изобретение. Так оно и есть, сказал однажды Пьетро Роману, и тот согласился: так оно и есть.

Всего за несколько недель здесь, наверху, человек заметно худеет и бледнеет. Интересно, если бы люди оставались в космосе достаточно долго, принимали бы они в конце концов форму земноводных? — гадает Пьетро. Он провел на орбите уже почти шесть месяцев, впереди еще три. С этой раздувшейся головой и чахлым тельцем он ощущает себя головастиком. По мере атрофии тела жизнь напоминает ему о себе все реже. Проголодавшись, он ест, но носовые пазухи заложены настолько, что пища кажется безвкусной, да и вообще настоящего аппетита он не испытывает. Он спит, потому что должен, но сон по большей части чуткий, а не глубокий и креп-

кий, как на Земле. Такое чувство, будто организм отринул естественные потребности, системы охладились и все ставшие избыточными детали конструкции удалились ради большей эффективности. На фоне замедления и охлаждения тела яснее звучат мысли, похожие на звенящие вдали колокольчики. На орбите отношение к жизни легче, мягче и беззаботнее, и дело не в том, что мысли теперь другие — просто они стали менее многочисленными и более отчетливыми. Они не накрывают лавиной, как раньше. Они приходят, остаются с тобой, пока это в твоих интересах, а потом уходят.

После того как Роман провел в космосе примерно месяц, по ночам ему начала сниться жена. Он испытывал безумное, мучительное желание, пожирая взглядом ее худосочную наготу, белые следы от купальника на загорелой коже, темные волосы под мышками, линии ребер, сомкнутые запястья, вспотевшую от жары грудь. На короткое время мысли о ней озлобляли его, он словно пьянел от страсти. Где-то спустя неделю после одного такого сновидения Роман выходил в открытый космос вместе с Нелл, и на следующую ночь Нелл появилась в его сне. Действие разворачивалось в каком-то не знакомом Роману земном месте, в

погруженной во мрак комнате-клетушке, стены которой были обшиты деревянными панелями. Голос Нелл доносился издалека, хотя ее тело прижималось к его. Роман настолько удивился, обнаружив ее рядом с собой, что это повергло его в своего рода экстаз. Где-то поблизости шла вечеринка, звучала музыка, но понять, откуда она раздается, было невозможно. Роман прижимал Нелл к себе, целовал в шею и с трепетом повторял ее имя. И хотя больше он ничего не запомнил, на другой день за завтраком ему было неловко даже смотреть на Нелл.

Сон не повторился, и Роман почувствовал, что последние нотки сексуальности в его теле смолкли. Казалось, оно поняло, что эти старания напрасны, и щелкнуло выключателем, после чего внутри наступили пустота и тишина.

Виток 8, движение вниз

Занимаясь фридайвингом, Нелл иногда размышляла: может, это похоже на то, что чувствуют астронавты? Находясь здесь, наверху, она иногда закрывает глаза и думает: это похоже на то, что чувствуют дайверы. Медленные, парящие движения тела, спокойные, точно плывешь в воде. И то, как члены экипажа перемещаются по лабиринту станции, словно лавируют среди обломков затонувшего корабля, — тесные отсеки, люки, открывающиеся в узкие трубы, переплетения которых складываются в до того однообразные узоры, что перестаешь понимать, откуда ты стартовала и где окажется Земля, когда ты выглянешь наружу. А когда выглядываешь, любая клаустрофобия мгновенно превращается в агорафобию либо ты начинаешь испытывать обе фобии.

Она перетаскивает грузовые мешки из одного места в другое. Все, что можно сжечь, все, что не вернется на Землю, складируется: пакеты с пищевыми отходами, мусор, использованные салфетки, туалетная бумага и бумажные полотенца, штаны, футболки, носки, нижнее белье

и полотенца для тела, спортивная одежда, пропитанная потом многих недель, старые тюбики зубной пасты, пустые пакетики из-под еды и питья, отстриженные ногти и волосы — все это в конце концов будет перенесено на грузовой корабль, который прилетит на следующей неделе, и через два месяца, когда он отстыкуется и благополучно сгорит в атмосфере, для уцелевших частичек отходов начнется новая долгая жизнь на околоземной орбите. Словом, сейчас Нелл занимается чисто физической работой — перемещает большие кубы груза, точно собирает гигантскую трехмерную головоломку. Как в автодоме, места на космическом корабле всегда недостаточно, везде все забито битком, ты прижимаешь вещи ногами и привязываешь, чтобы не уплывали. Когда Нелл и Антон сталкиваются в дверном проеме, оба переворачиваются набок и проскальзывают мимо друг друга, при этом кончик ее носа легко касается небольшой выпуклости его живота.

Однажды она путешествовала в таком автодоме. Раз Нелл помнит об этом, значит, поездка состоялась незадолго до смерти матери; следовательно, Нелл было года четыре или пять. Как сама Нелл в эти минуты, мать тогда рассовывала

пакеты по разным углам — в маленькие кухонные тумбочки с отслаивающейся пленкой, под сиденья стульев, в узенький шкаф в спальне, в навесные шкафчики, щелкавшие мебельными магнитами (это щелканье не умолкало целыми днями). Мать хлопотала почти бесшумно и так старалась, будто они переезжали, а не отдыхали в отпуске. Впрочем, они действительно часто переезжали, и в жизни семьи даже был период, который отец впоследствии назвал междомьем (где же они жили? Нелл всегда полагала, что у дальних родственников или у друзей), но он ни разу не упоминал, что они когда-либо жили в автодоме, — такое она наверняка удержала бы в памяти.

Снаружи слабый свет — Нелл сразу узнает в этой предвечерней строгости Северную Европу; ступенчатые построения облаков, под которыми темнеют бесчисленные оттенки коричневого. По правому борту южное побережье Ирландии, где находится ее муж, и Англия; обогнув эти берега, они направляются через центр Европы на юг. Есть какая-то неуклонная целеустремленность в их вращении по орбите, в том, что они, кажется, все время подползают к бледному гребню Земли, но никогда его не достигают. Это не обескуражи-

вает их, и они продолжают двигаться все так же терпеливо и воодушевленно. По мере продвижения на юг цвета меняются: коричневые светлеют, палитра становится не такой мрачной, зеленые тона варьируются от темной зелени горных склонов до изумрудного оттенка речных русел и бирюзы моря. Насыщенный пурпурно-зеленый цвет обширной дельты Нила. Коричневый делается персиковым, делается сливовым; Африка под ними — настоящий батик с абстрактным узором, а Нил — разлив кобальтовой гуаши.

По выражению мужа Нелл, Африка из космоса выглядит как полотна позднего Тернера — эти пропитанные светом, свободные от условностей формы пейзажи густыми мазками. Как-то раз он заметил, что, если бы оказался когда-нибудь там, где она сейчас, провел бы весь отмеренный ему срок в слезах, беспомощный перед лицом неприкрытой красоты Земли. Но он никогда не окажется там, где сейчас она, потому что, к своему собственному разочарованию, не может жить без твердой почвы под ногами. Ему нужна стабильность внутри и снаружи, жизнь должна быть безыскусной, иначе она начнет его подавлять. Есть люди вроде него (так он сам утверждает), которые склонны усложнять свою внутреннюю

жизнь, потому что испытывают слишком много чувств одновременно, путаются в них и потому нуждаются в максимально простой внешней обстановке. Например, дом, поле, несколько овец. А есть люди, которым каким-то чудом удается упростить свою внутреннюю жизнь так, что им не страшны никакие внешние вызовы, сколь угодно сложные. Эти люди способны поменять дом на космический корабль, поле на вселенную. И хотя он отдал бы ногу за то, чтобы войти в их число, обмен явно был бы неравноценным, ведь разве будет от его ноги какая-нибудь польза тому, у кого уже есть безграничность?

Безграничности нет ни у кого, сказала она. В ответ он полюбопытствовал, готова ли она когда-нибудь отправиться на Марс, зная, что полет продлится не менее трех лет и что она, возможно, не вернется на Землю. Да, ответила она без малейшего колебания, и ей было трудно понять, почему кто-то выбрал бы другой вариант. Я хочу этого хотеть, продолжил он. Хочу быть человеком, который хочет полететь на Марс, но знаю, что свихнусь по дороге. Именно я буду тем пассажиром, который сойдет с ума и поставит миссию под угрозу, и ради общего блага организаторам придется меня усыпить. Да ладно тебе, нежно

отозвалась она (хотя в глубине души была того же мнения).

Последний на сегодня мешок Нелл помещает в шлюзовую камеру, где хранятся скафандры — призрачные покачивающиеся существа, испытавшие на себе суровость космического пространства. Доведется ли еще хоть раз выйти туда в одном из них? Пребывание за пределами корабля и вправду напоминает фридайвинг. Однажды благодаря биолюминесценции Нелл посчастливилось заниматься дайвингом ночью — вокруг нее сверкали звезды. Твои легкие полны воздуха, тело и вода становятся похожими, сливаются воедино, разум спокоен и собран.

Они с мужем почти ежедневно обмениваются фотографиями; он присылает то снимок озера и горы на фоне кровавого заката, то крупный план сосульки, овечьего уха, цветка или столба ворот, то снова моря или облаков, которые отражаются на мокром песке, то ночного неба с кружком, нарисованным в том месте, где прямо над ним пролетала космическая станция. На снимке ее не видно, зато подпись к нему гласит: *Ты находишься/находилась здесь.* К моменту, когда ты получишь эту фотографию, говорилось в его письме, ты успеешь обогнуть мир еще восемь

или девять раз. Согласись, сказал он, мужу, чья жена летит над его головой со скоростью семнадцать тысяч миль в час, приходится несладко. Он никогда не знает, где она и где ее искать.

В ответ она присылает ему фото Земли, звезд и Луны, модулей, своей каюты, членов экипажа и их совместных ужинов. Фото Ирландии, которая всегда хотя бы частично скрыта облаками. Фото себя на велоэргометре в лучах беспощадного, не оставляющего в покое неонового света, среди серпантина кабелей, проводов, экспериментальных стоек, камер, компьютеров, воздуховодов, вентиляционных отверстий, решеток, люков, переключателей, панелей. Вообще-то муж всегда знает, где ее найти. Местонахождение Нелл тщательно задокументировано и общеизвестно, она пребывает на фиксированной орбите, предсказуемой с точностью до миллисекунды. Она может быть в любом из семнадцати модулей, но нигде более. За исключением того случая, когда парила снаружи, в открытом космосе — но даже тогда ее страховали фалы и за ней наблюдали сотни глаз.

Можно сказать, Нелл в ловушке. Тогда как ее муж волен перемещаться, куда ему заблагорассудится. Их отношения длятся шесть лет, пять из которых они женаты; четыре года из этих пяти

она проходила предполетное обучение; из этих четырех лет они провели вместе лишь несколько месяцев; из этих нескольких месяцев они и трети не прожили в Ирландии, в унаследованном им семейном доме, куда он в прошлом году переехал с чемоданом вещей, потому что, раз уж он проводит большую часть жизни один, лучше жить там, чем в их лондонской квартире, где у него нет ни сада, ни свободного пространства, ни ощущения, кто он такой. И вот теперь он обитает в стране, которую она едва знает, в стране, которая представляется ей такой же мифической, как и ему — виды планеты из космоса. Край, где произрастает тростник, болотный хлопок, можжевельник и фуксия. Его владения, снимок его на фоне собственного поля, его силуэт меркнет на фоне пылающего заката. (Кстати говоря, кто его фотографировал?)

И тогда она спросила его: кто из нас человек-загадка? На что он ответил: мы оба. Каждый по-своему, но в равной мере. В твоей голове теснятся аббревиатуры, в моей — названия овечьих болезней. Мы оба в равной мере люди-загадки.

Виток 9

Хеллоу, говорит Роман в динамик радиоприемника. Здрасте! *Хеллоу!*

Хеллоу!

Здрасте, *хеллоу.*

Это действительно вы? Это космос? Вы астронавт?

Космонавт. Здрасте, *хеллоу.*

Как вы сказали?

Как ваши дела?

Я Тони.

Я Роман.

Я сказал: Тони.

Я понял.

Я вас не слышу.

Я Роман.

Трещит жутко, и вас еле слышно.

Я Роман, космонавт.

Как ваши дела?

Хорошо, а ваши?

Я Тони.

Будто две громадные кофемолки, плывущие в бескрайнюю тьму, протискиваются сквозь

межзвездную среду над гелиосферой два аппарата, известные как «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Оснащенные антенной с высоким коэффициентом усиления, магнитометром слабого поля, магнитометром сильного поля, гидразиновыми двигателями, системой космических лучей и ориентации, они удаляются от Земли на тринадцать миллиардов миль в сторону вечности. К начиненному электроникой корпусу каждого из них прикреплен футляр с золотым диском, который мог бы быть памятной табличкой или порталом, хотя на самом деле является фонографом, виниловой пластинкой с земными аудиозаписями.

Возможно, в ближайшие пятьсот миллиардов лет зонды, совершив оборот вокруг Млечного Пути, наткнутся на разумную жизнь. Возможно (возможно!), когда через сорок тысяч лет они подлетят достаточно близко к той или иной планетарной системе, одна из тамошних планет окажется населена некой формой жизни, и ее представители примутся следить за зондами при помощи того, что можно назвать глазами, установят телескоп, взглянут на старые, потрепанные зонды, давно оставшиеся без топлива, и с тем, что можно назвать любопытством, возьмут тем, что можно назвать пальцами, иглу (прилагается

в комплекте) и опустят ее на пластинку, и тут наконец космос огласят величественные аккорды *та-да-да-да-а* Пятой симфонии Бетховена. Точно раскаты грома, они пронесутся через все границы. Человеческая музыка проникнет во внешние пределы Млечного Пути. Там будут Чак Берри и Бах, Стравинский и Слепой Вилли Джонсон, а также мелодии, сыгранные на диджериду, скрипке, слайд-гитаре и сякухати. Песня китов будет развеваться над созвездием Малой Медведицы. Не исключено, что какие-нибудь существа на какой-нибудь планете звезды AC+793888 расслышат аудиозаписи 1970-х годов, в том числе блеяние овец, смех, шаги и звуки нежных поцелуев. А еще тарахтение трактора и звонкий детский голосок.

Если они услышат на фонографе запись быстрых взрывоподобных трений и соударений, поймут ли, что эти звуки обозначают мозговые волны? Смогут ли догадаться, что более сорока тысяч лет назад в неизвестной солнечной системе женщине сделали ЭЭГ и записали ее мысли? Смогут ли затем перекодировать эти наборы звуков обратно в мозговые волны и расшифровать, о чем думала та женщина? Смогут ли прочесть человеческие мысли? Сообразят ли, что она была молода и влюблена? Поймут ли, глядя на

эту ломаную кривую с пиками внизу и вверху, что женщина думала одновременно о Земле и о своем возлюбленном как о неделимом целом? Заметят ли, что, хотя женщина и старалась придерживаться сценария и думала о Линкольне, ледниковом периоде, древнеегипетских иероглифах и других знаковых личностях, событиях и изобретениях, которые стали важным вехами в истории земной цивилизации и которые она стремилась донести до инопланетной аудитории, каждая мысль непременно возвращала ее к темным бровям и гордому носу возлюбленного, к тому, как чудесно двигались его руки, когда он слушал внимательно, точно птица, и как часто они касались друг друга, не соприкасаясь физически? Звуки нарастают, когда она начинает думать о великом городе Александрии и о ядерном разоружении, о симфонии земных приливов и о его широком подбородке, о том, как он говорит обо всем с такой поразительной точностью, будто каждая его фраза — прозрение и открытие, и о том, как он смотрит на нее, словно она сама для него — прозрение, которое он продолжает обретать, и о стуке своего сердца, и о жарких волнах, пробегающих по ее телу, когда она воображает, что он хотел бы с ней сделать, тут же

отвлекается на мысли о стаде бизонов, бегущем по равнинам Юты, о невозмутимом лице гейши… Она знает, что нашла в мире то единственное, что никогда не чаяла найти, — два разума и два тела, набрасывающиеся друг на друга с таким ошеломительным рвением, что ее собственная жизнь катится под откос и все тщательно выстроенные планы рушатся в одночасье; ее охватывает огонь, огонь страсти, мыслей о сексе и судьбе, о полноте любви, об их поразительной Земле, о его руках, его шее, его обнаженной спине.

Мысли звучат как пульсар. Быстрые, сбивчивые, гулкие удары. Каковы шансы, что некая разумная форма жизни когда-нибудь обнаружит этот золотой диск, не говоря уже о том, чтобы воспроизвести его, не говоря уже о том, чтобы расшифровать значение мозговых волн? Бесконечно малы, если не сказать равны нулю. И тем не менее диск с записями еще долго будет блуждать по Млечному Пути, запертый в ловушке вечности. Через пять миллиардов лет — к тому моменту Земля уже давно будет мертва — он станет песней любви, которая переживет угасшие солнца. Звуковая роспись затопленного любовью мозга пройдет через облако Оорта, через солнечные системы, мимо мчащихся метеороидов,

навстречу силе притяжения звезд, которых пока не существует.

Вчера они наблюдали за тем, как лунная ракета четко скрылась во мраке. Видели, как возникшая из огненного шара корона взмыла ввысь, будто второе солнце, видели, как взорвались ускорители, видели башню дыма. А затем ракета оставила эту стартовую кутерьму и спокойно поплыла в космос.

Члены экипажа отслеживали каждый этап пути лунных астронавтов — они-то понимали, пусть лишь отчасти, каково тем приходится. На первые несколько секунд после пробуждения в пляжном домике на мысе Канаверал их охватило недоумение — где мы? — затем они вспомнили ответ и сели, свесив ноги с кроватей. Мысли сделались точными и короткими, астронавты приняли последний душ и съели последний завтрак, вышли из дома и молча посмотрели на море.

За ними приехала машина, больше напоминавшая электрическую акулу. При первом взгляде на возвышавшуюся на стартовой площадке ракету с тремя ускорителями, двадцатью семью двигателями и силой тяги в пять миллионов фунтов их лица приняли одурманенное выражение

бродячего пса, чьи ноздри уловили запах мяса. Родные намеренно воздержались от пожеланий удачи, поскольку знали, что удаче нет места в зоне регламента, протокола и брифинга о погоде. Таблетка от космической болезни, таблетка обезболивающего, техники уже подготовили скафандры и ждут. Перчатки надеты. Шлем, напечатанный на 3П-принтере, водружен на голову. Сапоги до колена в стиле ретросупергероя обуты. Проверка на предмет утечек. Стать огнеупорным, звуконепроницаемым и вакуумонепроницаемым в этом ультрасовременном пузыре, который имитирует соотношение давлений на Земле и защитит их в случае разгерметизации, — и будь любезен эффектно позировать перед объективами журналистов, щеголяя в льстиво зауженном фраке смокинга. Ты Джеймс Бонд, имперский штурмовик, капитан Марвел, Бэтгерл. Подойди к стартовой площадке, устройся на подогнанном специально под тебя откидном сиденье с подачей воздуха внутрь на уровне бедра. Проверка связи, проверка герметичности люков, проверка всех реле, всех контуров и всего оборудования. И снова проверка.

В пляжном домике они были людьми — женщиной, мужчиной, женой, матерью, дочерью,

мужем, отцом и сыном, — крестились, барабанили ногтями и кусали губы в бессознательной тревоге. Добравшись до стартовой площадки, они стали олицетворением Голливуда и научной фантастики, «Космической одиссеи» и Диснея, продуманным и готовым к использованию брендом. Ракета сверкала в воздухе, окутанная облачком новизны, абсолютной и завораживающей белизны и новизны, а небо было восхитительно синим и ждало своих покорителей.

Виток 10

В восьмидесяти миллионах миль отсюда неистовствует Солнце. Сверкая и вспыхивая, оно приближается к своему одиннадцатилетнему максимуму; присмотревшись, можно различить его края, истрепанные ярким светом, и множество пятен, напоминающих синяки. Колоссальные солнечные вспышки посылают к Земле протонные бури, а возникающие вслед за ними геомагнитные бури устраивают световые шоу на высоте трехсот миль.

Словом, снаружи клокочет самый настоящий радиоактивный бульон, и члены экипажа понимают: если системы защиты выйдут из строя, они сварятся в этом бульоне заживо. В то же время на фоне столь высокой активности Солнца возникает интересный эффект: солнечное излучение (сравнительно мягкое и стойкое) оттесняет космическое излучение (этакий мешок со змеями, плюющимися ядом), и бульон, в котором они плавают, становится менее агрессивным. Получается, магнитные поля Земли частично выполняют работу защитных экранов, и потому

дозиметр в лаборатории почти не возмущается. Облака солнечных частиц раздуваются, вспышки распускаются и устремляются к Земле ровно за восемь минут, энергия пульсирует, взрывается, Солнце превращается в гигантский шар плавления и ярости. Невероятным образом его ярость формирует вокруг космической станции кокон, будто Солнце — это дракон и им сказочно повезло оказаться под его защитой.

И вот они здесь, в этом укрытии с подветренной стороны Солнца. Близится вечер, Шон собирает мешки с мусором, Роман моет российский туалет, Пьетро — американский, Антон проверяет исправность воздухоочистительной системы, Тиэ протирает и дезинфицирует, Нелл пылесосит вентиляционные отверстия, где обнаруживает карандаш, болт, отвертку, а также волосы и обрезки ногтей.

Наступает редкий момент, когда им не нужно ничего делать. Тиэ плавает возле иллюминатора по левому борту, зная, что сейчас орбита увела их максимально далеко от Японии; пройдет еще часа четыре, прежде чем они снова пролетят над ее родиной. Там моя мама, думает она. Все, что осталось от моей мамы, находится там, и скоро ее останки сгорят и исчезнут. Они огибают Африку

с запада — сейчас в поле зрения Мавритания и Мали, которые быстро уступят место Нигерии, Габону и Анголе; за сегодняшний день члены экипажа видят эти страны уже во второй раз, но утром они двигались к восходящему узлу, сейчас же спускаются, чтобы обогнуть побережье и заложить широкую петлю под мысом Доброй Надежды, как морские корабли прошлых эпох.

Вниз мимо стрелой вонзающегося в море города-полуострова Дакар, дальше через экватор, последние предзакатные минуты, и вот уже огни Браззавиля и Киншасы мерцают на берегах сумеречно-прохладной Конго. Синий становится лиловым, индиговым, черным, ночь сжирает Южную Африку одним глотком. Пропадает из виду континент хаотического совершенства со своими кляксами красок и чернил, мятым атласом и раскрошенной пастелью, напоминающий вазу с фруктами, континент соляных котлов и пойм с красными отложениями, континент похожих на нейронную сеть рек, бархатисто-зеленых гор, выскакивающих посреди равнин, будто плесневые грибки. Очередной континент скрылся из виду, в очередной раз опускается прозрачная вдовья вуаль звездной ночи.

Роман и Антон находятся в российском сег-

менте, Роман ищет винтик, который выпал из ножниц и теперь наматывает круги где-то над его головой; Антон плавает возле иллюминатора, подняв ноги к потолку, и смотрит вниз. Кейптаунские огни исчезли, над океаном клубятся штормы. Вращаясь вокруг Земли ночью, где-нибудь непременно можно увидеть мягкую, рассеянную пульсацию молнии. Электрический серебристо-синий цветок бесшумно раскрывается и закрывается. Здесь, там, вон там.

Антон машинально проводит пальцем по узлу, который нащупал у себя на шее две недели назад и который пытается прятать под воротничком футболки поло. Не хватало еще заболеть в космосе. Коллеги забеспокоятся и отошлют тебя домой, а поскольку в одиночку не улететь, с тобой придется отправляться еще двоим, а прерывать их миссию было бы непростительно. Антон ничего не скажет ни врачу-куратору, ни товарищам по команде; он надеется, что никто ничего не заметит. Узел находится у основания шеи, он размером с вишню и совершенно безболезненный.

Его жене там, на Земле, уже давно нездоровится, и он пообещал детям не допустить, чтобы с кем-либо из них случилось что-то плохое, будто это было в его силах. Антон хочет быть светом,

который проведет их всех сквозь тьму, и с этим грузом в душе он живет многие годы. Временами тьма настигает его, как любого другого человека. Он не знал слов, которыми мог бы передать это. Не знал, как заговорить с женой и по-дружески сказать то, что вертелось у него на языке: забудем, ладно? Давай расстанемся. Мы больше не любим друг друга, зачем усложнять то, что так просто? Когда Антон нащупал узел, на ум пришли именно эти слова. *Забудем, ладно?* В голове они звучали непринужденно, будто он предлагал закончить неловкий разговор. Легкие слова, которые поставят точку в его длящейся десятилетиями внутренней борьбе; он уверен, что, произнеся эти слова, освободит их всех — себя, жену, детей — из плена тьмы, от которой он никогда не сможет их уберечь, хоть это и его долг.

Тот факт, что в его браке нет любви, осознавался им постепенно, будто нежные рассветы, наступающие один за другим. Когда Антон смотрит в телескоп на линии, прочерченные кораблями на океанической глади, на древние береговые линии ярко-оранжевого боливийского озера Лагуна Колорада, на красную, в пятнах серы вершину извергающегося вулкана, на прорезанные ветром складки скал пустыни Кевир, от каждого из этих

видов его сердце снова разрывается. А он и не подозревал, до чего оно большое, это сердце, не догадывался, до чего сильно можно полюбить каменный шар, и эта любовь настолько горячая, настолько жизнеутверждающая, что не дает ему спать по ночам. Когда же Антон впервые увидел на шее уплотнение, по неведомой причине это показалось ему логичной кульминацией всех этих рассветов, всех этих осознаний того, что они с женой не любят друг друга и что жизнь необычайно велика и притом необычайно коротка. Став в тот день обладателем важных новых сведений, он ощущает некую новую решимость. *Забудем, ладно?* — скажет он жене, когда вернется на Землю, а она не удивится и, коротко кивнув, ответит, *ладно, проехали.* Забудем. Простой ответ на вопрос, о котором она даже не знала и который не предполагала услышать. Он аккуратно поднимает воротничок.

Огни Кейптауна пробуждают у Нелл воспоминания о том, как она была там в детстве. Путешествие слабо отпечаталось в памяти, зато один образ поразительно четок: жара, Нелл стоит на мощеной площади, на ее плече сидит крошечная обезьянка, мартышка на поводке. Было ли это наяву? Нелл уверена, что обезьяна на ее плече

настоящая, и знает, что ездила в Кейптаун, но теряется в догадках, есть ли между этими двумя фактами какая-то связь.

Пьетро изучает новости, желая узнать, далеко ли продвинулся тайфун. Его нервирует, что с орбиты тайфун больше не видно. Метеорологи сошлись во мнении, что имеют дело с супертайфуном; они сообщают о его стремительном распространении, вследствие которого жители затронутых территорий не успели подготовиться, а также о том, что в будущем подобные штормы станут более частыми. Пьетро подлетает к куполу, фотографирует сверкающее море и растущую Луну, все гладкое и блестит, точно отполированное. *Дворец небесный Свой над водами вознес,* псалом номер такой-то, приходят Пьетро на ум слова, однажды сказанные Шоном. Иногда кажется, будто так оно и есть на самом деле — дворец, из которого на море льется свет. Пьетро отщелкивает сотни снимков.

Что-то сталось с филиппинскими ребятишками, с которыми они с женой познакомились во время медового месяца, — с детьми рыбака? Что сталось с их простодушными широкими ухмылками, разбитыми шершавыми коленками и шелковистой кожей, с их жилетками, шлепан-

цами и грязными пальцами ног, с их напевными голосами и бездонными карими глазами, с их осторожным доверием к этим вторженцам, однажды явившимся в их дом на ужин, этому мускулистому Баззу Лайтеру в футболке «Армани» и его жене, поразившим их воображение снимками людей в космических скафандрах? Дети вели себя так, словно видели и знали больше родителей, которые предпочли закрыть глаза на некоторые моменты. А именно — что ситуация никогда не изменится: из какой бы вселенной ни прибыли этот Лайтер со своей высокой, приятно пахнущей и пока почти незаметно беременной супругой, они никогда не смогут нанести ответный визит, никогда не отужинают во время роскошного отпуска в доме этих молодоженов и их ребенка, который еще не родился, но даже если такое случится, они будут обязаны этим милосердному одолжению, за которое никогда не смогут отплатить. И все-таки это недоверие в той же степени было полно принятия, желания преподнести щедрые дары — ракушки, которые они нашли, зеленую бейсболку (жена Лайтера не снимала ее до конца вечера), пластиковую свистульку-ослика, которую они должны подарить ребенку, когда тот родится. Где сейчас эти дети?

В безопасности ли они?

Когда все предусмотренные графиком эксперименты завершаются, члены экипажа приступают к последнему на сегодня заданию — тщательному документированию собственного самочувствия: отчеты об аппетите, мониторинг настроения, измерение пульса, анализ мочи. Каждый берет у себя кровь, которую потом проанализирует врач. Уходит эпоха, думает Шон, помещая пробирки в центрифугу. Он думает: дни этого надежного корабля сочтены. Зачем ограничиваться рамками орбиты в двухстах пятидесяти милях над Землей, если можно находиться на орбите в двухстах пятидесяти *тысячах* миль над ней? И это только начало. Это только Луна. Дальше появится жилая база вблизи Луны, жилая база на Луне, там можно будет находиться длительное время, проводить дозаправку дальнемагистральных кораблей. Однажды, в не самом отдаленном будущем, люди покинут земную орбиту и полетят далеко-далеко, гораздо дальше, чем удалось подняться экипажу этой станции, — к манящему красному маяку Марса.

Они вшестером и те, кто был здесь до них, — лабораторные крысы, сделавшие все это возможным. Они — образцы и объекты исследования,

проложившие другим путь наверх и ставшие для них своего рода ступенькой. Когда-нибудь современные космические полеты покажутся незатейливыми автобусными экскурсиями, а безграничные возможности, реализуемые по щелчку пальцев, только подтвердят их незначительность. Они плавают в невесомости, точно рыбки в аквариуме. Культивируемые ими клетки сердца однажды начнут использовать для замены аналогичных клеток у астронавтов, направляющихся на Марс. Тогда как клеткам их собственных сердец суждено умереть. Они берут образцы крови, мочи, кала и слюны, контролируют пульс, давление и режим сна, регистрируют любые боли и необычные ощущения. В первую очередь они — материал для сбора данных. Средство, а не цель.

Эта трезвая мысль в некоторой степени облегчает им космические муки — одиночество, с одной стороны, и гнетущее знание, что в положенный срок им придется отсюда улететь, с другой. Речь не шла о них прежде, не идет и сейчас, — о том, чего они хотят, что думают, во что верят. Об их прибытии и о возвращении. Речь идет о четырех астронавтах, летящих в эти минуты на Луну; о людях будущего, которые когда-нибудь

поселятся на новой лунной станции, отправятся дальше в глубины космоса; о поколениях грядущих десятилетий. Впрочем, и не об этом тоже, а исключительно о будущем, о завораживающих, как пение сирен, других мирах, о некоей грандиозной абстрактной мечте о межпланетной жизни, о человечестве, отъединившемся от прихрамывающей Земли, освободившемся из ее пут; о покорении пустоты.

Возможно, шестеро человек на орбите мечтают об этом же, а может, и не мечтают, а если даже и да, это не имеет значения, пока они выполняют задания и играют свои роли. Чем они с удовольствием и занимаются изо дня в день. Измеряют, насколько крепка их хватка. Спят, обвязанные ремнями и обвешанные датчиками, которые мешают нормально дышать. Сканируют головной мозг. Берут мазки из горла. Втыкают шприцы в натруженные вены. Все это с огромным удовольствием.

Что раздражает:
забывчивость;
вопросы;
церковные колокола, звонящие каждые пятнадцать минут;
заклинившие окна;

лежание без сна;
заложенность носа;
волосы в трубах и фильтрах;
проверка пожарной сигнализации;
бессилие;
мушки перед глазами.

В российском модуле над столом плавает надувной глобус, на стене висит снимок Уральских гор, а также фотографии двух космонавтов — Алексея Леонова и Сергея Крикалёва; на столе инструменты, наспех прикрепленные к липучке, вилка в банке из-под консервированного тунца и любительский радиоприемник Романа. Проведя на орбите более двадцати пяти лет и совершив порядка ста пятидесяти тысяч витков, модуль стареет, становится скрипучим и все менее пригодным для полетов. На корпусе корабля появилась трещина. Тоненькая, но удручающая.

Интерьер не имеет ничего общего с ослепительной капиталистической западной мечтой о космосе — утилитарная серая громоздкость царит в этом храме долговечных инженерных разработок, наполненном духом прагматичной гениальности. Капсула времени постсоветских лет, последние отголоски ушедшего века. Попытка создать дом, попытка показать: вот пол, а вот

потолок, вверху — это вон там, попытка бросить вызов пространственности космоса, которая доминирует в прочих модулях и аннулирует понятия верха и низа, правой стороны и левой. Но стремления создать уютную обстановку тщетны, потому что нет и не может быть ничего уютного в стенах-липучках, километрах кабелей и матовом жужжащем свете, да и вообще здесь не как в космосе и не как дома, а скорее как в подземном бункере, который члены экипажа очень полюбили как раз благодаря этим оказавшимся безуспешными усилиям организовать приятный комфортный интерьер.

Сегодня они вшестером ужинают здесь, и Роман с Антоном делятся своими запасами: щавелевым супом, борщом и рассольником, рыбными консервами, оливками, творогом и кубиками подсушенного хлеба.

Неужели наш разговор о том, чтобы оформить станцию в стиле крестьянского дома, был сегодня утром? — удивляется Пьетро. Такое ощущение, что минуло то ли две минуты, то ли пять лет. Может, это из-за тайфуна, говорит он. Из-за того, как он скользит под нами, точно древнее чудище.

Антон, который как раз находится возле иллюминатора, инстинктивно смотрит вниз, но

тайфуна не видно. Антон не понимает, где они сейчас: вокруг только океан и серебристо-голубая ночь. Лишь различив точку света по правому борту, Антон идентифицирует ее как Тасманию и делает вывод, насколько далеко на юг они продвинулись. Силуэт роботизированной руки корабля рассекает его поле зрения по диагонали.

Нелл достает пакетик медовых сот в шоколадной глазури — их с последним грузовым кораблем прислал ей муж, потому что Нелл тосковала по еде, которая хрустит и которую не нужно черпать ложкой; муж отправил ей три пачки, она растягивает лакомство как может, и наслаждение почти затмевает боль от того, что вкуснятина кончается. Остатками сот она делится с другими членами экипажа, говоря себе, что от эгоистичного скопидомства толку все равно нет. За трапезой они беседуют о том, по чему скучают: о свежих пончиках, свежих сливках, жареном картофеле. О сладостях из детства.

Хорошо помню, как школьницей ходила в дагасия, говорит Тиэ. Мы всей толпой неслись туда после уроков, магазин был похож на другой мир — входишь и видишь перед собой громадный прилавок с конфетами, они свисают с потолка, теснятся на полках вдоль стен, а аромат какой!

Думаю, если пробыть там слишком долго, от него вполне можно потерять сознание. Мы обычно покупали всего по чуть-чуть. Немножко бонтан амэ, немножко ниндзин, пару жвачек-сигареток.

У нас продавали наборы на десять пенсов, говорит Нелл. Если выбирать тщательно, можно было взять одних леденцов. Такого набора хватало на целый день.

«Коровка», говорит Антон, вспоминая о своем сне. «Коровка», вторит Роман.

Это те конфеты, которые мы ели тогда у тебя дома? — спрашивает Пьетро. Твоя жена подала их к кофе.

Роман кивает.

Ох уж эти конфеты из сгущенки, комментирует Шон.

Просто объедение, мечтательно вздыхает Пьетро, они были самой вкусной частью обеда. Только не подумай, Роман, что я критикую стряпню твоей жены.

Но фактически ты именно это и делаешь, хмыкает Нелл.

Пригодится для шантажа в случае чего, вполголоса добавляет Тиэ.

А вам не кажется, что Россия перебарщивает с любовью к сгущенке? — замечает Шон, который,

по обыкновению, вознесся под потолок и висит там, выковыривая из зубов соты.

Ваша проблема в Америке, в пику ему отвечает Роман, в том, что вы добавляете в еду недостаточно сгущенки. И не только ваша — это проблема всего остального мира.

По пути к холодильнику Пьетро делает точное сальто вперед. В моем детстве были популярны «Галатине» — круглые молочные конфетки, говорит он.

Тиэ достает из кармана салфетку, вытирает рот и говорит: в Японии почти не осталось дагасия. Их в основном переделали в музеи. Сейчас везде либо минимаркеты, либо супермаркеты.

Нелл перебрасывает кусочек медовых сот с ладони на ладонь и наблюдает, как он порхает, словно волан; Антон ковыряет вилкой остатки рыбы в банке, причем настолько сосредоточенно и серьезно, будто там таится нечто фундаментально важное, не видимое другим. Шон, по-прежнему не спустившийся с высоты, лежит на спине, точно держится на водной глади, и разглядывает свои руки, за последнее время ставшие мягкими, как у младенца, мягкими, как фланелевая пижама.

Никто из шестерых практически не ощущает

легкого толчка назад в момент, когда корабль меняет курс, чтобы избежать столкновения с чем-то, вероятнее всего с космическим мусором; после краткого всплеска активности двигателей их медленно относит назад.

Родные предложили отложить мамины похороны до моего возвращения, но я отказалась, так что они состоятся завтра, ни с того ни с сего сообщает Тиэ.

Она поучаствует в заключительной части похорон, в ходе которой прах матери будет развеян на Сикоку, в саду на берегу моря. Не могу перестать думать о доме, продолжает она. О матери и об отце там, в их саду.

Шон берет из диспенсера на стене салфетку и протягивает ее Тиэ, хотя та не плачет. Она принимает салфетку машинально, будто не замечая ее. Слово «дом» повисает в воздухе. Оливка, которую Тиэ зажимает палочками, падает обратно в пакетик. Тиэ прикрепляет палочки к столу и принимается рассказывать о том дне, когда они с матерью забрались на гору. Тиэ поднимает руки, показывая, какая высокая эта гора, и салфетка в ее руке превращается в развевающийся флаг. Тиэ повествует, как мать первой подошла к продуваемой яростными ветрами вершине, взволнованно

раскинула руки и закричала: *Тиэ-тян! Тиэ-тян! Я здесь, я здесь!* И это ее самое счастливое воспоминание о матери — взрослой, сильной и радостной. Больше никогда в жизни я не чувствовала себя такой уверенной и такой любимой ею, вздыхает Тиэ. Сейчас я думаю только о том, как она тогда прокричала: *Тиэ-тян! Я здесь!*

Замолчав, она убирает салфетку в карман. Кажется, Тиэ никогда так много не говорила о себе ни за несколько месяцев, проведенных ими вместе на орбите, ни за несколько предшествующих лет подготовки к полету. Да, они все здесь по натуре сдержанные одиночки, но у Тиэ это свойство характера проявляется особенно ярко. Антон замечает, что плачет, его слезы образуют четыре капли, и те уплывают из его глаз. Антон и Тиэ спешно их ловят. Здесь нельзя выпускать на свободу никакую жидкость, этому правилу все они следуют неукоснительно.

Вы меня слышите? — спрашивает Роман.

Я вас слышу, отвечает голос.

Хорошо. Я Роман.

Привет, Роман, я Тереза.

Тереза, говорит он. Я российский космонавт.

Ух ты. Как у вас с английским? У меня с русским не очень.

Не беспокойтесь. С русским у всех не очень. Поговорим по-английски.

Я живу недалеко от Ванкувера.

Здорово, я бывал в Ванкувере, только давно.

А я вот никогда не бывала в космосе.

Я так и подумал.

Знаете, мне туда и не хочется.

У нас в запасе минут шесть или семь. После этого мы полетим дальше, и сигнал пропадет. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?

Хм… Пожалуй, да.

Задавайте.

Вы никогда не чувствуете себя… э-э-э… удрученным?

Удрученным?

Да. С вами такое случается?

Гм, затрудняюсь с переводом. Что означает это слово?

Что оно означает? К примеру, задумываетесь ли вы когда-нибудь, в чем смысл этого всего?

Смысл пребывания в космосе?

Да-да. Знакомо вам это ощущение? Бывает так, что вы ложитесь спать там, на орбите, и спрашиваете себя: к чему все это? Приходят вам в голову подобные мысли? Или, допустим, когда чистите зубы. Однажды я летела дальним рейсом и, чистя

зубы в туалете, выглянула в иллюминатор и вдруг мне пришло в голову: какой смысл в моих зубах? Нет, не подумайте, что все совсем плохо, просто у меня перехватило дыхание, стоило задаться вопросом о смысле чистки зубов. Я прямо-таки примерзла к полу. Вы меня понимаете? Я не слишком тараторю?

Понимаю.

Перед сном у меня иногда тоже возникает это чувство. Я откидываю одеяло, думаю о том эпизоде на борту самолета, и в груди становится тесно. Плечи опускаются, я проваливаюсь в состояние удрученности. Я грущу. Но сама не знаю почему.

Удрученность. То есть это примерно то же, что и депрессия?

Скорее, разочарование. Уныние. Как будто теряешь всю моральную силу до капли.

И вам интересно, испытываю ли я это же ощущение?

На снимках я видела, в каких условиях вам приходится спать. Что-то вроде телефонной будки, в которой висят спальные мешки. Зрелище отнюдь не воодушевляющее. Абсурд какой-то, если называть вещи своими именами. И я задалась вопросом: когда после всех приложенных усилий — а я догадываюсь, что они были колос-

сальными, — вы прибыли туда, наверх, и увидели эти спальники, вы не пали духом? Это не стало для вас разочарованием? Вот что я имею в виду, понимаете?

Абсурд.

Я вас оскорбила?

Нет, что вы. Я размышляю над вашим вопросом.

Простите.

Тереза, насчет спальных мешков… Они и вправду висят, и большинство из нас даже не пристегивает их эластичными ремнями к стене, мы свободно висим и плаваем, и это по-своему успокаивает. Но я помню, как в первый вечер здесь увидел свой спальник и, возможно, поначалу почувствовал себя — как бишь там? — удрученным, когда осознал, что это моя постель на ближайшие несколько месяцев, но потом кое-что заметил и тотчас заулыбался. Я увидел, что мешок не просто висит, понимаете — здесь ведь не действует гравитация, которая могла бы сделать его тяжелым или… ну…

Безжизненным или вялым.

Вот-вот. Он, скорее, *колышется;* легко-легко, точно парус корабля при идеальном ветре. Глядя на него, ты ощущаешь, что в течение твоего

пребывания на орбите с тобой все будет благополучно, ты ни при каких обстоятельствах не почувствуешь себя удрученным. Да, ты можешь скучать по дому, выбиваться из сил, томиться как зверь в клетке, страдать от одиночества, но удрученным ты не будешь никогда.

То есть моральная сила наполняет тебя, а не пропадает. Как будто все вокруг живое? Как будто спальный мешок живой?

Вроде того.

Вас плохо слышно.

Нет.

Вот бы сейчас настала ночь, я могла посмотреть вверх и увидеть ваш свет, проплывающий в небе.

Пусть вы нас и не видите, но мы действительно проплываем в небе мимо вас.

Мой муж умер, это его радио…

Извините, Тереза, сигнал пропадает.

Он умер летом.

Соболезную вам, Тереза…

Прием, вы меня слышите? Прием!

Любимая, я по тебе скучаю, пишет Шон.

На оборотной стороне открытки с репродукцией Веласкеса — запись почерком жены, угловатые буквы наклоняются влево, стоят плотно друг к

другу. Почерк больше похож на мужской. Как же ему сейчас ее *не хватает*. В то же время, если бы сегодня предложили улететь домой, он ни за что не согласился бы, а когда через несколько месяцев придет время возвращаться, ему захочется остаться тут. Это напоминает отравление; космическая тоска по дому сродни наркотику. Гложет потребность сию же минуту убраться отсюда и задержаться здесь навечно, сердце делается полым от желания, только внутри ощущается не пустота, а скорее знание о том, сколько всего туда может поместиться. За это нужно благодарить виды, открывающиеся с орбиты, — они превращают тебя в развевающегося воздушного змея, черпающего форму и легкость из всего, что не является тобой.

Шон разжимает пальцы, открытка взлетает над ноутбуком, медленно и грациозно поворачивается, словно исполняет балетный тур. На экране — начатое электронное письмо, в котором он должен ответить на вопрос журналиста о предстоящей высадке на Луну. Составители редакционной статьи адресовали этот вопрос представителям самых разных профессий — актрисе, физику, студенту, художнику, писательнице, биологу, таксисту, медсестре, финансисту,

изобретателю, режиссеру и астронавту — то есть ему, Шону. А сформулирован вопрос следующим образом: *Как мы пишем будущее человечества в эту новую эру космических путешествий?*

Будущее человечества. Да что он может о нем знать? По мнению Шона, таксист имеет об этом более точное представление, чем он. С годами разум Шона сузился до размеров точки, благодаря чему он научился с кристальной ясностью предвидеть, что произойдет в ближайшие несколько мгновений, и практически не думать ни о чем другом.

Когда проводишь неделю в глубоких подземных пещерах в обществе еще четырех человек и с очень скудными запасами провизии, часами протискиваешься сквозь узкие расщелины, проверяешь себя на прочность и становишься свидетелем панических атак у самых невозмутимых людей, ты привыкаешь мыслить в пределах ближайших тридцати минут и совершенно отвыкаешь думать о том, что можно было бы назвать *будущим*. Когда забираешься в скафандр и пытаешься адаптироваться к трудностям передвижения, болезненному натиранию, неутихающему часами зуду, к отключению и к ощущению того, что тебя замуровали и отсюда, как из гроба,

уже не выбраться, ты способен думать исключительно о следующем вдохе, который должен быть поверхностным, чтобы ты не потребил лишнего кислорода, и при этом не слишком поверхностным; нет ничего важнее вдоха, который ты делаешь в это мгновение, и даже следующий вдох пока не имеет значения. Когда видишь Луну или розоватый оттенок Марса, ты думаешь не о будущем человечества, а только (если вообще думаешь о чем-либо) о логистической вероятности того, что тебе или кому-либо из твоих знакомых посчастливится туда попасть. Думаешь о своей эгоистичной, одержимой и наглой человечности, о том, как расталкивал локтями тысячи претендентов по дороге к стартовой площадке, ибо что еще могло дать тебе преимущество перед ними, как не стремительная сила убежденности и решимости, сжигающая все на своем пути?

Как мы пишем будущее человечества в эту новую эру космических путешествий?

Будущее человечества уже написано, полагает Шон.

Возможно, сейчас мы впервые переживаем столь волнительный и важный момент в истории освоения космоса, — печатает он.

Заметив краем глаза Пьетро, который проплы-

вает мимо, намереваясь нырнуть к себе в каюту, расположенную напротив, Шон спрашивает, Пьетро, как мы пишем будущее человечества в эту новую эру космических путешествий?

Сильно шумят вентиляторы. Пьетро щурится и оттопыривает уши руками.

Шон повторяет вопрос громче, как мы пишем будущее человечества в эту новую эру космических путешествий?

Будущее человечества? — переспрашивает Пьетро.

Ага. Как мы его пишем?

Позолоченными перьевыми ручками миллиардеров, наверное.

Шон улыбается.

Кто-то прислал тебе открытку? Пьетро перемещается к дверному проему каюты Шона и шутливо кивает на свободно парящие «Менины».

Жена. Пятнадцать лет назад, отвечает Шон.

Пьетро кивает, а Шон ловит открытку и протягивает ему. Прочитай, что написано сзади, предлагает Шон.

Ну что ты, зачем…

Читай, читай.

Чему или кому посвящена эта картина? — на-

строчила его жена на обороте открытки. *Кто на кого смотрит? Художник на короля и королеву; король и королева на самих себя в зеркале; зритель на короля и королеву в зеркале; зритель на художника; художник на зрителя, зритель на принцессу, зритель на фрейлин? Добро пожаловать в зеркальный лабиринт человеческой жизни.*

Твоя жена всегда такая… э-э… многословная? — любопытствует Пьетро.

Ох, и не говори, усмехается Шон. Вообще не умолкает.

Пьетро смотрит на картину некоторое время, потом еще мгновение, а затем произносит, псу.

В смысле?

Отвечаю на вопрос твоей жены: картина посвящена псу.

И только теперь — когда Пьетро возвращает открытку, протягивает руку и пожимает худощавое плечо Шона, прежде чем уплыть к себе, — Шон впервые по-настоящему замечает на переднем плане картины пса. Раньше он никогда не вглядывался в него, но сейчас не может смотреть ни на что другое. У пса закрыты глаза. На картине, где все вертится вокруг взглядов и их направления, один лишь пес не смотрит никуда, ни на кого

и ни на что. Только теперь Шон замечает, какой это большой и красивый пес, и хотя он дремлет, в его облике нет ни вялости, ни тупости. Лапы вытянуты, голова гордо поднята.

На картине со столь продуманной и символичной композицией это не может быть простым совпадением, думает он, внезапно приходя к выводу, что Пьетро прав, что он понял замысел картины или что его комментарий заставил Шона увидеть совсем другую картину, нежели ту, к которой он привык. Сейчас он не видит ни художника, ни принцессы, ни карлика, ни монарха, он видит лишь портрет пса. Животное, окруженное странными людьми со всеми их причудливыми манжетами, оборками, шелками и позами, зеркалами, углами и точками обзора; люди на картине изо всех сил стараются не быть животными, и когда Шон смотрит на них в эти минуты, ему становится смешно. Пес — единственное существо на картине, не вызывающее смеха и не попадающее в капкан тщеславия. Единственное существо на картине, которое можно назвать свободным хотя бы приблизительно.

Виток 11

Всё, всё вращается и проходит.

Об этом размышляет Шон, убирая открытку в сумку, и ему становится смешно, когда он возвращается мыслями к вопросу журналистов. *Как мы пишем будущее человечества?* Мы ничего не пишем, это оно пишет нас. Мы — листья, кружащиеся на ветру. Мним себя ветром, хотя на самом деле мы — просто листва. И разве не странно, что все наши людские поступки лишь подтверждают, что мы животные? Разве мы не настолько неуверенный в себе вид, что постоянно глазеем на себя, выясняя, что отличает нас от других? Мы — великолепные, изобретательные и любопытные существа, которые осваивают космос и меняют будущее, хотя на самом деле единственное, что отличает людей от других живых созданий, — это умение разжигать огонь из ничего? Вроде бы только это — и это действительно изменило все, но тем не менее. Мы на несколько ударов кремнем впереди остальных видов, не более того. Шимпанзе могли бы делать то же самое, если бы наблюдали за нами и учились, и мы бы

оглянуться не успели, как они уже собирались бы вокруг костров, мигрировали в более холодные края, готовили еду и так далее.

Он молится за лунных астронавтов, за скорбящую Тиэ, за тех, кто оказался на пути тайфуна. В памяти всплывает поездка в лаосский природный заповедник, где он слышал утренний дуэт гиббонов, отстаивающих каждый свою территорию; это было настойчивое монотонное пение, разносившееся по кронам деревьев. Когда Шон думает о шестерых членах экипажа здесь, на станции, или об астронавтах, летящих сейчас на Луну, он слышит эти настойчивые крики. Выходя в космос, мы делаем то же, что и гиббоны: утверждаем себя как вид, расширяем территорию. Космос — единственная дикая природа, которая у нас осталась. Сейчас, когда на Земле открыты и расхищены даже самые отдаленные регионы, Солнечная система, в которую мы устремляемся, — это всего лишь новый рубеж. За человеческими усилиями по освоению космоса скрывается извечное стремление живого расширить свою территорию. Огласить далекие просторы своим монотонным пением, чтобы затем завладеть ими.

Закрыв глаза, он слышит крики гиббонов,

глухие и гулкие. Затем видит на картине пса, исполненного одержанного достоинства. Представляет, как кладет руку на теплую шею лошади и чувствует под пальцами маслянистую гладкость ее шкуры, хотя за всю жизнь он почти ни разу не дотрагивался до лошади. Как сойка порхает между деревьями на заднем дворе его дома. Как юркий паучок перебегает в укрытие. Как под водой колышется тень щуки. Как землеройка несет в зубах детеныша. Как поразительно высоко подпрыгивает заяц. Как, ориентируясь по звездам, идет своей дорогой жук-скарабей.

Выбери любое существо на Земле, и его история станет историей всей Земли, внезапно думает он. Потому что это существо может рассказать тебе обо всем. Обо всей истории мира и о его вероятном будущем.

Готовясь к ежевечернему осмотру подопечных, Тиэ видит на мониторе чудо: мыши летают кругами. Спустя неделю они отцепились от прутьев своих клеток, сообразили, как шевелить лапками в космосе, и научились справляться с микрогравитацией. Теперь — радуясь или безумствуя? — они кружат в своем модуле величиной с обувную коробку, точно маленькие ковры-самолеты. Радуясь, конечно. Это действительно

похоже на радость. И хотя в том нет необходимости, Тиэ вытаскивает мышек из клеток, просто чтобы подержать их на руках.

И тут она впервые ощущает горе в полной мере. Это не укус и не удар, а что-то незаметное и удушающее. Тиэ хватается за поручень и сосредоточивается на дыхании. Внутри корабля жужжат и гудят всевозможные агрегаты, Тиэ словно живет в часовом механизме, просеивающем время через ее кости, а мама там, на вершине горы, в сине-белой полосатой блузке, строгой юбке А-силуэта и крепких прогулочных ботинках; от этого наряда возникает ощущение, будто она сразу нескольких возрастов: девочка, молодая мать и пожилая женщина, окликающая Тиэ добрым низким голосом.

Тиэ отпускает поручень и сворачивается в клубок. Висит и покачивается. Похороны матери пройдут точно в день высадки на Луну. Тиэ медленно выдыхает, возможно, при этом издав странный звук, но в отсеке так шумно, что она его не слышит. Когда ты уже хорошо освоила плавание в невесомости, можно держаться в воздухе совершенно неподвижно, не опрокидываясь, что она и делает. Подтянув колени к подбородку, медленно скользит от одного конца модуля к

другому, пока не наталкивается на люк. Затем рикошетом перемещается в центр модуля.

Снаружи ночь накрывает середину Атлантики мертвенно-черным крылом, и планета исчезает.

Бывают моменты, когда кажется: поджать ноги к груди и выкрутить сальто в воздухе — это единственное, что ты можешь сделать. Шон находится в трех кубических метрах от своей каюты. Нелл и Пьетро в лаборатории завершают приготовления к совместному вечернему кинопросмотру. Роман и Антон в российском модуле играют в покер, используя в качестве фишек дисковые магниты, которые удерживают карты. Тиэ перед экспериментальной стойкой, где все еще летают мыши. Раскинув руки, она переворачивается вверх тормашками.

Кувыркайся вперед и назад, разведи руки, не переставай удивляться чуду невесомости; вспомни, как в первое время отсутствие гравитации сбивало тебя с толку, потому что тело постоянно пыталось понять, где верх, а где низ, но подсказок ниоткуда не поступало. Тело в отчаянии продолжало искать сопротивление, но его ничто не оказывало, сопротивляться было нечему.

Первое время на орбите члены экипажа страдали космической болезнью — кто-то несколько

часов, кто-то несколько дней. То и дело вшибались в разные предметы, перемещались слишком быстро или слишком резко; борясь с головокружением, завязывали глаза и висели в каютах, убеждая мозг, что тело сейчас лежит. Но вскоре организм, казалось, принимал перемену, и это принятие воспринималось как своего рода усилие по поддержанию мира. Они отваживались на первый кувырок. Разум следовал примеру тела, и, паря возле иллюминаторов, любуясь дневным или ночным видом на Землю, они с новой силой осознавали, что падают. Они были невесомы не из-за отсутствия гравитации (здесь, так близко к Земле, гравитация достаточно сильная), а потому, что находились в состоянии непрерывного свободного падения. Они не летали, а падали. Пикировали со скоростью свыше семнадцати тысяч миль в час. Разумеется, они не разбивались, зато воочию могли наблюдать то, что прежде понимали только в теории: Земля отклоняется от мчащегося в свободном падении корабля с той же скоростью, с которой двигается сам корабль, а потому они никогда не столкнутся. Игра в кошки-мышки. Здесь, на станции, члены экипажа невесомы в том же смысле, что и посетители американских горок в момент, когда подняв-

шийся на вершину состав резко обрушивается под всеобщие вопли. Здесь, на станции, члены экипажа работают, занимаются спортом, спят и едят в условиях непрерывного падения.

Вот они и кувыркаются вперед-назад, потому что иногда это единственное, что остается делать, если ты только тем и занимаешься, что падаешь вокруг Земли.

Виток 12

Они парят перед экраном, на котором идет российский фильм о двух космонавтах, чьим разумом во время возвращения на Землю завладели инопланетяне. Передают по кругу пакетик мятных леденцов. К концу фильма все шестеро членов экипажа безучастно висят, их руки подняты прямо перед собой, головы покачиваются; во сне они выглядят совсем умиротворенными.

На губах Пьетро играет легкая улыбка, пышная челка колышется надо лбом, по лицу блуждает привычное выражение, преисполненное надежды. Щеки Нелл покраснели, губы поджаты, будто она все еще сосет леденец и пытается ощутить на языке мятный вкус. Густые брови придают Роману вид человека, испытывающего глубокое и всеобъемлющее удовлетворение, — испортить такое было бы грешно. Шон выглядит каким-то взбудораженным, его руки раскинуты шире, чем у остальных, голова запрокинута. Кисти Тиэ покачиваются на кажущихся хрупкими запястьях, движения ее век насторожены, хвостик, как всегда, развевается над головой, но сейчас выглядит

так, словно задумал оторваться и куда-нибудь ускользнуть. Антон спит с довольным видом, будто только что вручил детям долгожданный подарок; его кисть плавает, наполовину сжатая в кулак, а у основания большого пальца дергается мышца.

В кульминации фильма звуки делаются громче, творится какое-то неистовое насилие, играет пронзительная музыка, но к шуму здесь давно привыкли. Никто не просыпается.

Виток 13

По космическому календарю Вселенной и жизни Большой взрыв произошел первого января, почти четырнадцать миллиардов лет назад, когда избыточно заряженная плотная частица энергии взорвалась при температуре тысяч триллионов градусов Цельсия со скоростью, превышающей скорость света, — этот взрыв должен был создать пространство, внутрь которого взорвался, поскольку до этого не было ни пространства, ни чего-либо еще — вообще ничего. Ближе к концу января родились первые галактики, почти целый месяц — миллиард лет — атомы носились в космическом хаосе, пока не начали скапливаться в притягательно-ярких печах из водорода и гелия, которые мы сегодня называем звездами, а сами звезды стекались в галактики до тех пор, пока почти два миллиарда лет спустя, шестнадцатого марта, не образовалась одна из этих галактик — Млечный Путь. Лето продолжительностью шесть миллиардов лет проходило в привычном хаосе, как вдруг в конце августа разрушилась некая медленно вращающаяся солнечная туман-

ность (вероятно, под действием ударной волны, исходившей от некоей сверхновой звезды, — в общем, разрушилась так или иначе), и в ее уплотнившемся центре возникла звезда, которую мы сегодня называем Солнцем, а вокруг — хоровод планет, и все это сопровождалось каким-то барабанящим, грохочущим, оглушительным тарахтением космических перестрелок в духе Дикого Запада, летали камни, шипели газы, материя и гравитация сходились в бою лицом к лицу. На этом август закончился.

Через четыре дня появилась Земля, а еще через день — Луна.

Четырнадцатого сентября четыре миллиарда лет назад (по крайней мере, так гласят некоторые версии) возникла своего рода жизнь: бесстрашные маленькие одноклеточные создания необдуманно воодушевились идеей дальнейшего существования и не подозревали, к какой дикой сумятице это приведет. Две недели спустя, тридцатого сентября, некоторые из этих бактерий научились поглощать инфракрасное излучение и производить сульфаты, а через месяц им удалось совершить величайший прорыв: они стали поглощать видимый свет и вырабатывать кислород, пригодный для нашего дыхания, пригодный

для жизни, этот совместимый с легкими воздух, хотя на Земле еще долгое время легких не было ни у кого. Пятого декабря появилась многоклеточная жизнь — красные, коричневые, а затем и зеленые водоросли, которые в бескрайнем свечении размножались на освещенном солнцем мелководье. Двадцатого декабря растения наконец выбрались на сушу, это были печеночники и мхи без всяких стеблей и корней, и все же они сделали это, оказались здесь, и сразу вслед за ними, всего лишь тысячи лет спустя, на Земле появились сосудистые растения, травы, папоротники, кактусы, деревья; спокойная жизнь почвы закончилась, внутри нее теперь змеились цепкие корни, высасывавшие влагу, которую, впрочем, вскоре возвращали облака, замкнутые системы роста и гниения, нового роста и нового гниения, отчаянная конкуренция за то, кому достанется больше воды и света, кто станет больше, шире, зеленее, разноцветнее.

Наступает Рождество, хотя до появления на свет Христа еще 0,23 миллиарда лет, и вот уже на сцену выходят динозавры. Блистают там целых пять дней вплоть до вымирания, которое уничтожило их всех, ну или, по крайней мере, тех, кто передвигался по суше, — этих тружени-

ков, бегунов и древоедов. Открылась вакансия: *Разыскиваются наземные формы жизни, не тратящие время попусту; анкета прилагается.* Кто еще мог откликнуться на нее, как не млекопитающие, ровно к полудню тридцать первого декабря эволюционировавшие до своей самой адаптивной и хитрой формы: разжигателей огня, камнерубов, плавильщиков железа, пахарей, почитателей богов, измерителей времени, мореплавателей, торговцев зерном, первооткрывателей земель, создателей систем, сочинителей музыки, исполнителей песен, смешивателей красок, переплетчиков книг, перестановщиков чисел, выпускателей стрел, наблюдателей за атомами, украшателей тел, пожирателей пилюль, причесывателей волос, скребцов в затылке, обладателей ума, утрачивателей ума, охотников до всего и вся, спорщиков со смертью, тоскователей по любви, любителей тоски, двуногих созданий — людей. За шесть секунд до полуночи родился Будда, на полсекунды позже — индуистские боги, еще через полсекунды — Христос и спустя полторы секунды — Аллах.

В финальную секунду космического года появились индустриализация, фашизм, двигатель внутреннего сгорания, Аугусто Пиночет, Никола

Тесла, Фрида Кало, Малала Юсуфзай, Александр Гамильтон, Вив Ричардс, Лаки Лучано, Ада Лавлейс,

краудфандинг, расщепленный атом, Плутон, сюрреализм,

пластик, Эйнштейн,

Фло Джо, Сидящий Бык, Беатрис Поттер, Индира Ганди, Нильс Бор, Бедовая Джейн, Боб Дилан, оперативная память, футбол, каменная штукатурка, удаление из друзей, Русско-японская война, Коко Шанель,

антибиотики, Бурдж Халифа, Билли Холидей, Голда Меир, Игорь Стравинский, пицца,

термосы, Карибский кризис,

тридцать летних Олимпийских игр и двадцать четыре зимних,

Кацусика Хокусай, Башар Асад, Леди Гага, Эрик Сати, Мухаммед Али, глубинное государство, мировые войны, палеты, киберпространство, сталь, транзисторы, Косово, чайные пакетики, У. Б. Йейтс, темная материя, джинсы, фондовая биржа, арабская весна,

Вирджиния Вулф, Альберто Джакометти,

Усэйн Болт, Джонни Кэш, контроль над рождаемостью, замороженные продукты, пружинный матрас,

бозон Хиггса,
динамическое изображение, шахматы.

Само собой, в полночь Вселенная не заканчивается. Время с присущим ему нигилизмом шагает дальше, выкашивает нас, проявляя поразительную бесчувственность к нашим жизненным предпочтениям. Расстреливает нас в упор. В следующую долю секунды промелькнут тысячелетия, и живые организмы на Земле превратятся в экзоскелетно-кибернетические-машиноподобные-бессмертные постсущества, которые завладели энергией некой злосчастной звезды и высасывают ее досуха.

Если космический календарь на самом деле охватывает все время, которое по большей части еще не наступило, то за ближайшие два месяца с прохладным мраморным телом Земли может произойти сколько угодно событий, и ни одно из них не обнадеживает с точки зрения продолжения жизни на ней. К примеру, какая-нибудь блуждающая звезда низвергнет в пустоту всю Солнечную систему и Землю вместе с ней, падение метеорита вызовет массовое вымирание, наклон земной оси увеличится, орбиты изогнутся и сместят планеты… Впрочем, на это есть еще месяца четыре, то есть пять миллиардов лет,

прежде чем у Солнца закончится топливо, оно превратится в красного карлика и поглотит Меркурий и Венеру. Земля (если уцелеет) будет выжжена, океаны выкипят досуха, пепел засорит бесконечную орбиту умирающего Солнца, которое превратится сначала в белого, а потом в черного карлика, и так будет продолжаться, пока вместе с распадом орбиты шоу не закончится и Солнце нас не поглотит.

И это всего лишь локальная проблема, так, мини-драма, мелкая потасовка. Мы попадаем во вселенную столкновений и смещений, погружаемся в длинные медленные волны первого Большого взрыва, в то время как космос распадается на части; соседствующие галактики сталкиваются, затем те, что остались, кидаются врассыпную и бегут друг от друга, каждая оказывается наедине с самой собой, вокруг нее сохраняется только космическое пространство, расширение, расширяющееся внутрь себя, пустота, рождающая саму себя, и в актуальном на этот момент космическом календаре все, чем когда-либо были и что когда-либо делали люди, предстает не более чем вспышкой света, одним-единственным ничем не примечательным днем в середине года.

Наше нынешнее существование — краткий

расцвет жизни и знания, наше бытие — щелчок пальцами некоего безумного создания, только и всего. Этот летний взрыв жизни больше напоминает бомбу, нежели бутон. Эти плодородные времена быстротечны.

(Поздно ночью шестеро членов экипажа пробудились от путаных сновидений, в которые погрузились перед телеэкраном. Сейчас день или ночь? Они уже добрались до Луны? Какое сейчас десятилетие, какой век?

Половина второго ночи — они отклонились от режима на несколько часов. Хорошо, что центр управления полетами на ночь выключает видеонаблюдение, думают они полушутя-полусерьезно; иначе мы все схлопочем.

Сквозь дремоту и растерянность они на миг замирают от осознания, насколько странна их жизнь. Они парят посреди модуля, образуя круг, и смотрят друг на друга так, будто только что встретились после долгой разлуки. Без лишних слов они сужают этот круг. Двенадцать рук переплетаются. *Буона нотте, о-ясуми, гуд найт,* спокойной ночи, сладких снов. Пальцы стискивают плечи, ерошат волосы. Отстранившись друг от друга, члены экипажа бросают беглый взгляд в иллюминатор, видят яркий дневной свет, за-

ливающий Флориду, и расплываются по каютам, где темная станция снова убаюкивает их своим мерным гудением.)

Виток 14, движение вверх

Тайфун обрушивается на землю невыразимо мирно и беззвучно. На обманчиво безмятежном ночном фоне по ту сторону иллюминаторов солнечные батареи кажутся медными. Мгла Индийского океана уступает место сгущающимся облакам, и тайфун предстает густой белой массой, мерцающей в лунном свете. Орбита уводит их дальше на северо-восток, мчится над Малайзией, Индонезией, Филиппинами, но эти острова уже исчезли из виду.

На борту все спят, сейчас третий час ночи, на корабле темно и гулко. Через огромный куполообразный иллюминатор не видно ничего, кроме растянувшегося во все стороны тайфуна. Вот самый восточный край его спирали; облака, лежащие за сотни километров от него, приходят в движение, будто подхлестываемые. От зрелища подобных вихревых потоков закружилась бы голова даже у самого подготовленного наблюдателя.

Люди внизу, под крышей облаков, видят, как по улице пролетает автомобильная дверца, за

ней следует лист гофрированного железа. Видят, как вырванное с корнем дерево обрушивается на скамейку, на велосипед, на рекламный щит, переброшенный ветром через дорогу. Видят, как пятьдесят детей укрылись за баррикадой парт, да вот только школьное здание сносит ветром. Видят дождь, хлещущий в паводковые воды, которые устремляются в глубь суши. Видят чью-то собаку, выброшенную волной на улицу; собака барахтается в воде, а вот уже и хозяин барахтается рядом. Видят зонтик, коляску, книгу, шкаф, мертвых птиц, брезент, фургон, кучу обуви, кокосовые пальмы, ворота, тело женщины, стул, кровельные балки, Христа на кресте, флаг, бесчисленные бутылки, руль, одежду, кошек, дверные рамы, миски, дорожные знаки — словом, все и сразу. Видят, как океан накрывает город. Аэропорт складывается карточным домиком, самолеты опрокидываются. Мосты рушатся.

Первая серебристая царапина на правом плече Земли подсказывает, что скоро наступит рассвет; по мере удаления корабля на север облака рассеиваются, тайфун остается позади. Огни Тайваня и Гонконга, приближающиеся к ним по кривизне Земли, выглядят как бушующие пожары. Ночное небо над атмосферой светится неоново-зеленым,

постепенно переходящим в оранжевый.

Тиэ смотрит сны, в которых ее мать жива; они полны воодушевления и ликования. В иллюминаторы торопливо вплывают Япония и Восточная Азия, и если бы Тиэ проснулась и выглянула, то совсем или почти не увидела бы признаков тайфуна. Ее взгляду предстала бы только прекрасная планета, безудержно проносящаяся мимо мест ее детства. Там, внизу, завершается ночь, и континент словно украшается золотой гравировкой.

Виток 14, движение вниз

Чего ждешь:
сливы;
онигири;
катание на лыжах;
возможность разгневанно хлопнуть дверью;
боль в ногах;
яичница-глазунья;
кваканье лягушек;
необходимость носить теплое зимнее пальто;
погода.

В детстве Тиэ составляла списки, когда испытывала растерянность или тревогу. Проходя фазу, в которой теряла терпение и гневалась без особого повода, она начала писать списки людей, от которых хотела бы избавиться, и вариантов их умерщвления. Она знала, что убивать их собственноручно неправильно, поэтому они умирали только от несчастных случаев, которые можно было предотвратить. Когда гнев миновал, Тиэ составляла списки уже в другом настроении. Родители полагали, что это был ее способ контролировать чувства, не пытались остановить дочь

и комментировали ее действия скупо; поэтому с тех пор, если в жизни наступают тяжелые времена, Тиэ вновь обращается к спискам. Она строчит их почти на автомате, для нее это сродни обкусыванию ногтей и скрежетанию зубами: списки приносят ей облегчение и утешение. Здесь, в каюте, они мягко покачиваются на прищепках, карауля ее сон. Лет в восемь Тиэ составила список того, что необычно; одним из его пунктов были женщины-пилоты. Она поинтересовалась у родителей и у учителей, сколько в Японии женщин-пилотов, и ответ оказался отрицательным — по крайней мере, в армии ни одной. Ни одной. И этому ответу было суждено заронить семя в почву целеустремленного ума, методичного, бесстрашного и кристального ума.

Будучи ребенком лет шести-семи, Антон, как многие сверстники, смастерил из бутылки из-под моющего средства и фольги космический корабль, а из бельевых прищепок, завернутых в вату, — экипаж. Космонавты выходили в открытый космос практически каждый день. Мало того, они жили, не снимая скафандров, такие белые и пухлые, что не было видно ни рук, ни ног; уже спустя несколько секунд после пробуждения они выскальзывали через люк наружу так же легко,

как вскакивали бы с постели. Отец подкинул Антону идею: если сесть в темной комнате и зажечь настольную лампу, в круге света появится мерцающая взвесь пылинок; с того дня его космонавты стартовали именно там, возле лампы, а он аккуратно зажимал их пальцами и позволял им парить среди пылинок, будто среди звезд. И вскоре целью выходов в открытый космос стало составление карты все более расширяющегося звездного поля.

Нелл снится, что они с Шоном разыскивают в море астронавтов «Челленджера», при этом Нелл еще ребенок — по крайней мере, такой она видит себя в этих снах; однако Нелл выглядит не ребенком, а собой нынешней, но, поскольку в ней есть что-то эльфийское, сновидение запросто соединяет эти две личности, ребенка и взрослого. Они погружаются в воду. Нелл держит свечу, пламя трепещет в воде. Наконец они находят то, что искали, и это искомое оказывается огнем. На дне моря пылает костер. Языки пламени круглые, как обычно бывает в невесомости, и Нелл с Шоном забирают огонь к себе на лодку, которая на самом деле никакая не лодка, а большой камень, покачивающийся посреди океана. На камне сидит мать Нелл, на руках у нее обезьянка,

мартышка из всплывшего буквально сегодня в памяти воспоминания о площади в Кейптауне, которое во сне кажется свежим и важным. Ага, думает Нелл, понятно. Так вот почему я прилетела в космос. Потрясение горя прерывает сон и разбивает его на куски. Нелл просыпается. Она не может сообразить, что именно ей стало понятно во сне; осознание вспыхивает в мозгу и рассеивается, стоит только сосредоточиться на нем. Она скорбит по давно умершей матери. Теперь горе ощущается не страшной трагедией, а скорее ссадиной. И когда Нелл снова засыпает, ей снится уже не собственная мать, а мать Тиэ.

Странным образом (впрочем, об этом они никогда не узнают) Шон сейчас тоже видит во сне круглое пламя, невесомый огненный пончик. Он вращается в космическом пространстве и нервирует Шона, потому что, согласно логике этого сновидения, опровергает существование Бога. Огненный пончик превращается в тайфун, маленькую спираль, похожую на галактику. Шон наблюдает за ней издалека. В какой-то момент он вынимает беруши и держит их в аккуратно сжатых кулаках.

Еще находясь в утробе матери, я решил стать космонавтом, рассказывает Роман публике, со-

бравшейся в огромном зале. Еще до рождения, когда получал кислород через пуповину, плавал в невесомости, знал, что такое бесконечность, потому что недавно вышел из нее. Именно тогда я и решил стать космонавтом. Люди смеются и аплодируют, будто услышали анекдот, но ведь Роман просто сказал правду. Тем не менее он чувствует себя необычайно счастливым. Его мать и отец тоже в зале, они хлопают, а позади них сидит Антон.

Тиэ, наполовину во сне и наполовину бодрствуя, перенеслась на Сикоку, в родительский дом у моря. Завывающий тайфун сдувает Луну в сторону. Тиэ стоит на крыльце, крепко прижимая мать к груди, мать еще ребенок, и ее ручонки в руках Тиэ маленькие, словно мандарины. У нижней ступеньки плещется море. *Все хорошо, мама,* шепчет она, *дай-дзёбу-дэсу, ну-ну, всё хорошо. Сегодня день высадки на Луну,* говорит она, *посмотри наверх.* Но они видят, что Луна, к которой летят астронавты, сбилась с курса на половину околоземной орбиты и астронавты не могут ее найти, на что мать говорит: *Я всегда знала, что это произойдет. Я всегда это знала.* Тиэ держит мать на руках, и пока прижимает ее к груди, проходят тысячелетия. Я не должна была

оставлять тебя, думает она. Я никогда больше не уеду так далеко. Вокруг Земли вертятся планеты, свет становится оранжевым, Земля сталкивается с носимой ветром Луной, а они все так же стоят на крыльце. *Больше никогда,* говорит она. *Больше никогда.*

Антон в третий раз видит сон о Луне. Как Майкл Коллинз в свое время, Антон дрейфует один вблизи нее и слышит ропот, но он превращается не в разноголосицу, а в музыку, звук скрипки растягивает космическое пространство, и Земля оказывается так далеко, что он едва видит ее. Музыка искажает все вокруг. Он влюблен; он не гадает, в кого, во что или почему он так решил; он просто знает, что это так, и выбирается из скафандра, чтобы лучше прочувствовать эластичное и экстатическое нечто; он снимает шлем и обнаруживает, что это вовсе не шлем, а картуз, украшенный большим красным цветком.

Пьетро ничего не снится. Этой ночью он спит на редкость глубоко, крепко и без всяких мыслей. Дыхание и сердцебиение спокойные и ровные, морщины на лице разгладились, его «я» — это только тело, бурлящее скопление его атомов, беспечная сумма всех его частей, словно он знает, что там, снаружи, Земля продолжает непрерывно

вращаться и открывать саму себя, а потому ему нечем заняться. Кажется, сейчас он проснется и скажет: наша жизнь здесь неописуемо тривиальна и в то же время исполнена смысла. Монотонна и в то же время беспрецедентна. Мы чрезвычайно важны и в то же время абсолютно смехотворны. Взобрались на вершину только для того, чтобы обнаружить, что наши достижения практически ничтожны и что понять это — величайшее достижение каждой жизни, которая сама по себе не значит ничего и в то же время намного больше, чем все прочее. От пустоты нас отделяет какой-то тонкий слой металла; смерть очень близка. А жизнь — она повсюду, повсюду.

Виток 15

От антарктического шельфового ледника они проплыли сквозь темноту на северо-восток, пересекая просторы неизведанного ничего. Все спят. Внизу скользит Индийский океан, а весь прочий мир, кажется, его нисколько не беспокоит. На то, что под ними крутится планета, сейчас намекают только блеклая оранжевая линия атмосферы да Луна, такая близкая и надежная. При этом сквозь атмосферу видны звезды, и возникает ощущение, словно этот внешний край Земли сделан из стекла или что планета накрыта стеклянным куполом. И пока их корабль движется по орбите навстречу непрерывно обновляющемуся горизонту, кажется, что миллиарды звезд с шипением устремляются далеко ввысь.

Может быть, в мире нет ничего, кроме этого корабля, бесшумно скользящего вокруг невидимой скалы? Вероятно, именно так рассуждали первооткрыватели, блуждая в слепой тьме морей, находясь за много месяцев и тысяч миль от берега, в существовании которого не были уверены: они ощущали такую близость с Землей, точно

были единственными людьми в целом свете, и это ощущение дарило им краткие мгновения умиротворенности.

На часах здесь, наверху, начало четвертого. Там, внизу, в десятках и сотнях миль друг от друга, медленно пульсируют ослепительные молнии, и атласная тьма становится молочно-белой от грозовых облаков. Приближается экватор. Он несет с собой пронзительно яркую звезду, необъятный Вифлеемский свет. Скорее это свет тянет их за собой, нежели они следуют за ним; волна рассвета смывает ночь в сторону хвоста корабля, а облака (остатки завершившегося тайфуна) вытягиваются ввысь вихревыми пиками фиолетового и персикового цвета.

Внезапный дневной свет оглушает, будто удар сотни литавр. Через несколько минут они оставляют позади океан; над Мальдивами, Шри-Ланкой и оконечностью Индии спеет утро. Мелкие отмели и песчаные пляжи Маннарского залива. По правому борту — берега Малайзии и Индонезии, где песок, водоросли, кораллы и фитопланктон окрашивают воду в переливчатые зеленые тона, но уже через мгновение на горизонте повисают неспокойные облака недавнего шторма, идиллический вид становится тусклым

и тревожным. По мере подъема к восточному побережью Индии облака редеют; утро крепнет, уверенно воцаряется на короткое время, а на Бенгальский залив уже наползает туманная дымка, легкие облака бессчетны; заиленное устье Ганга открывается в направлении Бангладеш. Умбровые равнины и охристые реки, бордовая долина тысячемильной горной гряды. Гималаи — крадущийся иней; Эверест — едва различимая точка. По другую сторону хребтов Тибетское нагорье густо разрисовывает свежей коричневой краской ландшафт, испещренный штрихами ледников и рек и пестрящий замерзшими сапфировыми озерами.

Вверху, по диагонали над величественными горами Китая, возникает едва различимое пятно ржавчины — необыкновенный осенний цветок долины Цзючжайгоу, за ней — пустыня Гоби. На первый взгляд она видится незатейливой, но если присмотреться, можно заметить бесстрашные мазки кисти художника, который замечает в песке движение вод, а в коричневом — проблески сине-зеленого, лилового, лимонного и малинового, наносит на засуху оттенки разлитой нефти, а каньоны превращает в перламутровые раковины. Корабль поднимается дальше, приближается

к послеполуденной Северной Корее и устремляется выше, в сторону Хоккайдо. Япония — черточка, переходящая в многоточие. Одиннадцать витков и шестнадцать часов назад они миновали ее на спуске, теперь движутся мимо нее вверх, над рукавом русских островов, тянущихся вдоль Тихоокеанского хребта, скользят над Беринговым морем. Суша скрывается из виду изящно, будто шелковая нижняя юбка.

В эти минуты у них возникает ощущение, словно они покоряют континенты и взбираются на гребень Земли. Вверх и по еще одной широкой четкой дуге над северной частью Тихого океана. Хотя орбита обходит планету по прямой линии, вращение планеты создает впечатление, что орбита петляет вверх и вниз, на север и на юг, волнообразными движениями от края Полярного круга до южных морей. И сейчас, в самой северной точке, она снова опускается. Слева вдали блестит гладкий ломкий леденец, указывающий на местоположение Аляски. Безоблачная хрустящая карамелька из белой патоки. Когда южнее опять пасмурнеет, вид по ту сторону иллюминаторов превращается в текучий водоворот льдин и облаков. Длинный хвост полуострова Аляска. Беглый взгляд на сушу, фьорды и заливы. Горный

хребет, напоминающий шипастую спину динозавра. Тающие льдины. Канадское побережье по левому борту смотрится не как побережье, а как материк, развалившийся на куски от удара кувалдой.

До прибытия сюда у них было ощущение, что существует некая другая сторона мира, нечто далекое и недосягаемое. Теперь же они видят, как континенты переходят один в другой, будто заросшие сады: Азия и Австралазия вовсе не разделены, а соединены островами, которые тянутся между ними цепочкой; Россия и Аляска находятся нос к носу, их разделяет лишь узкая лужица. Европа без всякой помпы перетекает в Азию. Континенты и страны следуют вереницей, Земля представляется бесконечной взаимосвязью всего и вся, эпической поэмой, состоящей из свободно слагающихся строк. Она не оставляет шанса на противостояние. И даже когда океаны приходят и приходят, приходят и приходят, будто где-то разматывается бесконечная катушка, и представление о суше, представление обо всем, что не является сверкающей синевой, тускнеет, и каждая страна, о которой ты когда-либо слышал, кажется, оскальзывается и падает в пещеру космического пространства, даже тогда ты не

ожидаешь ничего другого. Ничего другого нет и никогда не было. Когда в иллюминаторе вновь показывается Земля, ты думаешь, надо же, точно пробудился от пленительного сна. А когда ее сменяет океан, говоришь себе, надо же, точно пробудился от одного сна посреди другого. Спустя какое-то время этих сновидений становится так много, что ты больше не можешь и не пытаешься отыскать выход, а просто паришь, крутишься и летишь на сто миль в глубь сна.

Внизу властвует ночь. На востоке горизонт начинает размываться. Сюда ночь еще не добралась, но уже приближается. Под ними Тихий океан, извивающейся кривой проходят заснеженные вершины Сьерра-Невады, в зум-объектив можно увидеть вдалеке Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, впечатанные в сушу, которая, в свою очередь, впечатывается в море: четко прочерченная белая линия побережья, пепельно-сероватый оттенок опаленных жарой кустарников. Плодородные прибрежные равнины Нижней Калифорнии. Тощая шея Центральной Америки. Вскоре и эти ландшафты вытесняются из поля зрения.

Иногда стремительность орбитальных витков утомляет и сбивает с толку. Они покидают один континент и через четверть часа оказываются

над следующим, и порой им трудно отделаться от ощущения, оставленного предыдущим континентом, он повисает у них за плечами, вся эта жизнь, которая приходит и снова уходит. Континенты проносятся мимо, будто поля и деревни за окном поезда. Дни и ночи, времена года и звезды, демократии и диктатуры. Только ночью, во сне, и можно выбраться из этого вечного бегового колеса. И даже во сне вращение Земли ощущается так же явно, как присутствие человека, который мог бы лежать рядом с тобой. Ты просто чувствуешь ее. Чувствуешь все дни, пробивающиеся сквозь твою семичасовую ночь. Все мерцающие звезды, настроение океанов и перебежки света по коже. Если бы Земля на секунду остановилась, ты бы тотчас почуял неладное и проснулся в испуге.

Сорок минут назад был рассвет, а на востоке уже маячит ночная тень. Вроде бы ничего особенного, просто пятнышко по левому борту. Синее стало фиолетовым, только и всего. Зеленое стало фиолетовым, белое стало фиолетовым, Америка — ну или то, что от нее осталось, — фиолетовой. Нет, Америку больше не видно. Ночь расправила сине-зеленую ткань Земли. Они снова пересекают экватор с севера на юг, Луна тускнеет и делается на градус толще. Внезапно терминатор, словно

рассердившись, стирает с лица Земли дневной свет, и звезды вспыхивают, как неизвестно откуда взявшиеся подснежники. Во сне экипаж вдруг ощущает тяжесть навалившейся ночи — огромную лампочку-планету кто-то выключил. Они погружаются в сон еще глубже.

Открытое море, южная часть Тихого океана у берегов Эквадора и Перу, Кито и Лима — предвестники появления суши. На тысячи миль вдоль побережья сверкают молнии, над водой колеблется след нимбового облака длиной около двух тысяч миль, по земле тянется горный вал протяженностью четыре тысячи миль. В самой непроглядной тьме, где нет городов, лежит лоскутное одеяло из оранжевых точек — это пылает тропический лес. Он горит до самого края Анд. Он простирается до востока Бразилии, до Парагвая и Аргентины, — орбита пролегает над континентом огня. Внизу, в Буэнос-Айресе, теснятся двенадцать миллионов человек, центр сменяют пригороды, сельскохозяйственные угодья, чернота, устье реки вливается в океан, а вскоре в поле зрения возникает Южный полярный круг.

Неповторимый Южный полюс, спрятанный во чреве Земли, сумеречно мерцает на фоне бескрайней ночи, однако здесь, в этих более се-

верных широтах, небо густое и полное галактик. Ты смотришь прямо в сердце Млечного Пути, притяжение которого настолько сильно и неотвратимо, что ночью иногда мерещится, будто орбита оторвется от Земли и ринется туда, в эту глубокую, плотную массу звезд. Миллиарды и миллиарды звезд излучают собственный свет, так что язык не поворачивается назвать окружающее пространство темным.

Начинается длинный отрезок маршрута над Южной Атлантикой, примерно две тысячи миль до южной оконечности Африки. Если бы члены экипажа выглянули в иллюминаторы и их глаза привыкли к слабому свету, у них возникло бы не ощущение пустоты, а огромное утешение от чего-то, что им никогда не постичь и не понять. Затерянный посреди мира, их корабль какое-то время плывет сквозь эту ночь.

Вспыхивающие огни Кейптауна напоминают коготь, указывающий на начало — или конец — континента протяженностью в несколько тысяч миль. Корабль продвигается вдоль африканского побережья мимо Мозамбика, Танзании, Кении, Сомали. Пыльно-коричневая в лунном свете, Африка кое-где прикрывается облаками и вздрагивает всем телом от разрядов ярких молний.

Городских огней почти не видно. Вот Мапуту и Хараре, вон там Лусака, впереди Момбаса, и каждый из этих городов смотрится горсткой золотых монет на отрезе гобеленовой ткани, их не соединяют ни освещенные фонарями дороги, ни городские агломерации. Слабая заселенность делает эти проваливающиеся в бездну земли бархатисто-прекрасными, ты чувствуешь, что вот-вот упадешь, но с каждой последующей секундой планета все больше становится похожа на саму себя, и вскоре ты движешься по ее следу через Аденский залив на Ближний Восток.

Огни Салалы на Аравийском море, электрический визг посреди мягко закручивающейся пустыни; если бы Абу-Даби, Доха, Маскат вошли в поле зрения минутой раньше, они украсили бы побережье, будто драгоценные камни, но время ночи истекло — снова восходит солнце, темноту пронзают серебряные копья. За то время, что члены экипажа находятся в космосе, по ту сторону иллюминаторов промелькнули тысячи рассветов, сотни рассветов они встречали воочию и, если бы сейчас не спали, непременно выплыли бы из кают и встретили еще один. Они не понимают, как такое возможно: вид за окном бесконечно повторяется и в то же время каждый

раз — каждый раз! — рождается заново. Они подняли бы крышки с куполообразного иллюминатора и осознали себя одинокими головами и телами в космическом вакууме. Болтающимися в маленьком пузыре с пригодным для дыхания воздухом. Чувство благодарности было бы настолько всеобъемлющим, что они ничего не смогли бы с ним поделать, ни одно слово или мысль не смогли бы с ним сравниться, и они закрыли бы на мгновение глаза. Земля осталась бы на внутренней стороне век яркой и геометрически совершенной сферой, и можно было бы гадать, что это — остаточное изображение или проекция разума, который знает планету уже так хорошо, что способен нарисовать ее без подсказок.

Каждый восход солнца такой же необъятный и яркий, как все предыдущие, и от каждого у них замирают сердца. Каждый раз, когда тонкое лезвие света вспарывает темноту и выпускает Солнце, на мгновение оно остается безупречной звездой, а затем из него, точно из опрокинутого ведра, выливается, затапливая Землю, свет; каждый раз, когда ночь за считаные минуты становится днем; каждый раз, когда Земля ныряет в глубины космоса и из каких-то бесконечных запасов достает новый день, день за днем, день за днем, каждые

полтора часа, — их сердца замирают.

Бледные рассветные города на берегу Оманского залива уже позади. Вот розовые горы, лавандовые пустыни, а впереди Афганистан, Узбекистан, Казахстан и тусклое круглое облако Луны. Иногда, пролетая над Казахстаном, им бывает трудно осознать, что оттуда они стартовали и туда же вернутся. Что единственный способ добраться домой — прорваться в атмосферу сквозь пламя, с почерневшими стеклами, и молиться, чтобы тепловой экран выдержал, парашюты и двигатели мягкой посадки включились, а все тысячи взаимодействующих деталей работали слаженно. Трудно осознать, что шепчущая линия, названная людьми атмосферой, и есть барьер, который им предстоит преодолеть. Что им придется вертеться внутри пылающего шара, прежде чем тормозной парашют рванет их ввысь и они увидят луга и диких скакунов на казахстанских равнинах.

Во сне экипаж совершил еще один полный полуторачасовой облет вокруг Земли, пятнадцатый из шестнадцати витков за день. По правому борту теперь видны только заснеженные Гималаи, устремляющиеся вдаль, словно дорога — широкая, открытая, бесконечная. К югу от гор

расположены города Лахор и Нью-Дели, которые в сиянии дня бледнеют и почти сливаются с ландшафтом. Поглощаются топографией дикой природы, которая, кажется, ничего не знает о человечестве. Она знает лишь эту горную цепь, тянущуюся куда-то на юг.

В разгар утра добираются до России, и в ярком свете Земля снова превращается в стеклянный шарик посреди черного-пречерного космоса. Выглядит всеми покинутой и хрупкой, ведь ближайшие к ней звезды и планеты сейчас не видны. В то же время она — полная противоположность хрупкости. На ее безупречной поверхности нет ничего, что могло бы сломаться, мало того — кажется, там вообще ничего нет; чем дольше смотришь, тем менее материальной она представляется и тем сильнее напоминает привидение, святой дух.

Земной шар прокатился под ними в очередной раз и продолжает катиться дальше. С каждым витком они смещаются на несколько градусов к западу, а когда корабль снова возьмет курс на север, полтора часа спустя они пролетят над Восточной Европой, где наступит новый день. По заснеженному ландшафту тянутся синие полоски. Орбита проходит неподалеку от самой

северной точки и закругляется у нижнего края Северного полярного круга. За ним лежит Северный полюс, который никогда по-хорошему не рассмотришь. От России корабль спускается в сторону Тихого океана и летит над ним пять тысяч миль.

Виток 16

Тем временем четверо астронавтов в похожем на наперсток командном модуле приближаются к лунной орбите. Приступают к первой фазе торможения двигателями. А вы знали, спрашивают их с наземной станции по радиосвязи, что недавно зафиксировали рекорд по количеству ударов молнии, пережитых одним человеком? Предшествующий рекорд насчитывал семь, но на прошлой неделе в Китае некий мужчина уцелел после восьмого в своей жизни удара. Ух ты, отзывается кто-то из экипажа, он что, громоотвод с собой таскает? На что только народ не идет ради новых рекордов, смеются остальные, а голос из динамика рассказывает, что в восьмидесяти четырех процентах случаев от ударов молнии погибают мужчины. Хм, похоже на правду, комментирует одна из женщин — членов экипажа. Живи глупо, умри молодым. А кстати, что было с той коровой, увязшей в торфяном болоте, про которую вы рассказывали нам вчера вечером? Ее вытащили, отвечает голос. Она проторчала там целый день, но люди взяли ремни, приехали туда

на пикапе «мицубиси» и вытянули ее из трясины. Надеюсь, она отблагодарила их молоком. Как выглядит Луна оттуда, где вы сейчас находитесь? Серой и мрачноватой, как толстый седой старик, говорят они. Слегка побитой жизнью, но по-своему гостеприимной. Когда достигнем Южного полюса, будет приблизительно видно, куда мы прилунимся. Это настолько потрясающе, мы и подумать не могли. Уже через девять часов мы доставим вас туда целыми и невредимыми, раздается из динамика. Если Господь смилостивится и ветер будет попутным, говорит кто-то, а другой усмехается: столько усилий, и все ради спасения коровы.

Если бы кто-нибудь мог наблюдать за движением лунного модуля снаружи, он увидел бы, как тот перемещается по созданной человеческими стараниями, но давно заброшенной дороге между двумя крутящимися сферами. Увидел бы, что здесь, снаружи, они совершенно не страдают от одиночества, потому что вынуждены лавировать среди роящихся спутников, скоплений всевозможных объектов, вращающихся вокруг Земли, двухсот миллионов вышвырнутых сюда объектов. Действующие спутники, обломки разрушенных спутников, естественные спутни-

ки, брызги красок, замерзший охладитель для двигателей, верхние ступени ракет, фрагменты «Спутника-1», «Иридиума-33» и «Космоса-2251», частицы выхлопных газов от твердотопливных ракет, потерянная сумка с инструментами, положенная не на место камера, упавшие плоскогубцы и пара перчаток. Двести миллионов объектов вращаются по орбите со скоростью двадцать пять тысяч миль в час и подвергают фасад космического пространства пескоструйной обработке.

Взгляд снаружи позволил бы увидеть, как лунный космический корабль на цыпочках пробирается сквозь эти горы мусора. Проходит низкую околоземную орбиту, самый загруженный и засоренный участок Солнечной системы, получает новую топливную инъекцию и катапультируется в направлении Луны. Мусора на этом отрезке пути меньше, полет продвигается благополучно. Ракета стоимостью несколько миллиардов мчится на всех парах, дальше и дальше, прочь от космического мусора, прочь от горящей неистовой сверкающей Земли, точно удирая с места преступления. Прочь от грубого разрушительного тайфуна и потока смытых домов, которые несутся по улицам и превращаются

в пороги, а масштабы бедствия таковы, что их пока вообще невозможно измерить. Прочь от планеты, которую люди взяли в заложницы и держат под дулом пистолета, а она пошатывается на своей орбите. Прочь отсюда, в сторону новых девственных просторов, выставленных на продажу, этого нового черного золота, этой новой области, созревшей для освоения. По этому космическому коридору длиной в четверть миллиона миль.

На борту орбитальной станции Антон, Роман, Нелл, Тиэ, Шон и Пьетро спят в трубчатых модулях, которые ежедневно обстреливаются снаружи различными объектами и испещряются вмятинами. Они висят в своих каютах, будто летучие мыши. Антон ненадолго просыпается и обнаруживает, что прижимает кулак к щеке. Его первая и единственная мысль — о корабле, летящем на Луну; эту мысль сопровождает пронзительное чувство детской радости, которое лопается, как пузырь, когда он снова засыпает. На мониторе Пьетро, прикрепленном к консоли возле его головы, беззвучно появляется сообщение от жены со ссылкой на новость о страшных разрушениях, посеянных тайфуном, которая останется непрочитанной до утра. На мониторе Шона тоже висит непрочитанное сообщение от дочки: видео про

козу, прыгающую на батуте, и подпись: ЯТЛ!

Крышки иллюминаторов опущены, в модулях царит темнота. Роботизированная станция, силовой тренажер, компьютеры с графиками работы на следующий день, которые сейчас закачиваются туда коллегами с Земли; камеры и микроскопы, стопки грузовых мешков, боксы с перчатками для экспериментов, биолаборатория и клетки с мышами, так называемый пруд, где складируются емкости с питьевой водой, Антоновы побеги гороха и капуста, скафандры в шлюзовой камере, сурово кивающие человеческие куклы, источающие горелый запах космоса.

Уже почти пять утра, скоро прозвонит будильник, и Роман сквозь полудрему осознает, что они летят где-то в районе Туркменистана, Узбекистана, а значит, вдали появляется Юг России, эта далекая загогулина между Черным и Каспийским морями. За ночь города покрылись первым снегом — Самара и Тольятти на рассеченных берегах Волги, черной змеей проскальзывающей через белый простор.

Иногда Роману кажется, будто каждый виток орбиты вписан в его тело. Он находится здесь уже почти полгода и знает маршруты, по которым станция перемещается над Землей, знает

последовательность витков, их повторяющийся узор. Даже сквозь сон он смутно ощущает блики солнца на золотых куполах тольяттинского собора — вспышку света, возникающую словно из ничего. Немного южнее лежит треугольник Волгограда, который космонавты и астронавты видят сверху, когда летят из Звездного городка в Казахстан на запуск; если видишь за иллюминатором самолета Волгоград, сразу понимаешь, что граница с Казахстаном уже близко и сейчас Россия, а вместе с ней все и вся останется позади.

Трещина, образовавшаяся с внешней стороны корабля, расширяется на один-два миллиметра. Рисунок разбегающихся от нее бороздок чем-то напоминает аэрофотоснимок дельты Волги. Эта трещина расположена не так уж далеко от головы Романа, по ту сторону тонкой оболочки корпуса из алюминиевого сплава, и никакие заплатки из эпоксидного состава или каптоновой ленты не сдержат ее разрастания. Давление в российском модуле падает минимально, едва заметно, недостаточно сильно, чтобы сработали датчики, и стрелки на часах продолжают описывать круги, отсчитывая время, оставшееся до пробуждения и резкого наступления нового дня, стремительного и рукотворного.

Если пересечешь корабль по всей его длине до хвостовой части, через люки, которые становятся все уже, а модули все старее, и заберешься сюда, в самый конец, в этот изношенный советский бункер, где спят Антон и Роман, ты увидишь стол с неубранными остатками ужина (дурная привычка членов экипажа — вечно откладывать уборку на завтра) — несколько ложек, пристегнутых с помощью липучек, рядом с ложками — два вакуумных пакетика из-под оливок, набитых забрызганными борщом салфетками, четыре лениво вращающиеся в воздухе крошки от медовых сот, временно пойманных в ловушку равнодействующих сил: вентиляционная система модуля толкает их в одну сторону, вентиляционная система корабля — в другую; внизу к стене прикреплены запечатанные пакеты с хлебом в кубиках.

На стене, на расстоянии вытянутой руки от парящих крошек висит фотография Сергея Крикалёва — худощавого, аккуратного и загадочного, с небольшими ушами, голубыми глазами и слегка меланхоличным выражением лица, напоминающим улыбку Джоконды. Именно он, Крикалёв, был одним из первых людей на этом корабле, и именно он первым включил свет, который

проник сквозь иллюминаторы в темную пустоту вокруг.

Кажется, он знает: что-то подходит к концу, как всегда непременно заканчивается что-то хорошее — распадом и разрушением. Через эту орбитальную лабораторию, через этот научный эксперимент по тщательно контролируемому обеспечению мира прошло много астронавтов и космонавтов. Эпоха станции завершается. И завершается она стараниями беспокойного исследовательского духа, благодаря которому когда-то началась. Продвигаться дальше и глубже. Луна, Луна. Марс, Луна. Еще дальше. Человек не создан для того, чтобы стоять на месте.

Возможно, мы новые динозавры и нам следует быть осторожными. Но тогда, вероятно, вопреки всему, однажды мы переберемся на Марс, где создадим колонию бережных хранителей, людей, которые постараются оставить Красную планету красной; придумаем для нее флаг, которого нам так не хватало на Земле, и спросим себя, не потому ли она погибла, что у землян не было единого планетарного флага; оглянемся на бледно-голубую точку вдали, на нашу старую добрую самоисцеляющуюся Землю, и спросим: помните? Вы слышали эти истории? Может, и вправду

существует еще одна планета-родитель — Земля была нашей матерью, Марс или какая-то другая планета станет нашим отцом. В конце концов, не такие уж мы и сироты, замершие в ожидании.

Крикалёв смотрит сейчас со снимка так, как бог взирает на свое творение, — снисходительно-терпеливо. Человечество — это компания моряков, думает он, братство моряков в открытом океане. Человечество — это не одна нация и не другая, оно включает в себя всех людей, всех вместе, всегда, что бы ни происходило. Он сидит в безвременной неподвижности, внимая непрерывным восьмидесятидецибельным вибрациям модуля, а вокруг него продолжают сходиться легковоспламеняющиеся стенки, затянутые зеленой липучкой. День за днем, неделя за неделей трещина на стенке корабля расширяется, и улыбка Крикалёва выглядит все более замечательной, все более божественной.

Да будет свет, кажется, тихо говорит он.

Около полусотни человек прячутся за алтарем часовни, которая словно присела на корточки среди деревьев. Паводковые воды достигают ее крыши. Кокосовая плантация в милю длиной, расположенная между часовней и побережьем, полностью затоплена, но благодаря создаваемому

деревьями буферу часовня уцелела; на ее восточном фасаде, обращенном к океану, окон нет, а окна на других фасадах пока держатся. Двери часовни уже пострадали, но пока сопротивляются напору воды. Бетонные стены трескаются, однако не падают. Штукатурка кусками слетает с потолка под ссутулившиеся балки. Мертвая акула, покачиваясь, проплывает мимо самого высокого окна. Ветер стихает. Люди в часовне больше не слышат его хлестанья по крыше. Если здание простоит еще несколько часов, пока не спадет вода, они выживут. Они молятся.

Они склонны верить, что за их спасение отвечает Санто-Ниньо. Даже атеисты и не особенно религиозные люди сейчас так считают. Собравшись вокруг маленького вышитого изображения младенца Иисуса, они молятся часами напролет, отворачиваются от океана, который ломится в окна, шепчут, бормочут, жмутся друг к другу и полагают, что становятся свидетелями чуда. Они не знают, благодаря чему еще может устоять часовня. Это событие за гранью возможного. Неистовый тайфун уничтожил куда более прочные и высокие сооружения. Но если Санто-Ниньо в стеклянном ящике останется невредим, то и с ними все будет благополучно. Они сняли его с

полочки, столпились вокруг и не смеют пошевелиться; ребятишки, громко плакавшие от страха, сейчас крепко спят.

Жена рыбака сидит, скрестив ноги, и держит одного ребенка на руках, другой прислоняется к ней сбоку. Третий и четвертый спят, свернувшись калачиком, положив головы на колени рыбака, его правая рука спокойно лежит на лбу одного, а левая — на лбу другого. Когда они бежали сюда, жену задел в плечо оторвавшийся лист металла; она терпит боль, не жалуясь. Часовню наполняет размытый неземной свет, пахнет морской водой и мокрой древесиной. Дети в безопасности. Обессилевшее море отдыхает. Ветер почти не дует.

Если смотреть из космоса, сейчас Филиппины и Индонезия окутаны прекрасными облаками, состоящими из множества вихрей и водоворотов, которые вскоре двинутся на запад. Тайфун ударился о землю и рассыпался. Деформированные наводнением острова стали меньше, чем были несколько часов назад. Худшее уже позади.

Яркий фронт немилосердной жары катится сюда с Тихого океана, который на последнем за сегодня, шестнадцатом витке предстает роскошным медным пятном рассеянного света. Это не вода, это не суша, это всего лишь фотоны, их

нельзя схватить, и они вот-вот исчезнут. Над южной частью Тихого океана наступает ночь, и свет гаснет.

Пройдет несколько лет, и корабль грациозно сойдет с орбиты в той самой точке Тихого океана, над которой проносится сейчас, пролетит сквозь атмосферу и рухнет в воду. Но это случится еще не скоро, спустя примерно тридцать пять тысяч орбитальных витков. Тем временем нынешний виток доходит до нисходящего узла, где над Антарктидой мерцают полярные сияния, и поднимается Луна — огромная, похожая на покоробленное велосипедное колесо. Сейчас половина шестого утра. Среда, день высадки на Луну. Звезды взрываются.

Подобно тому как тела в космосе излучают свет, сквозь вакуум там, снаружи, проносятся электромагнитные вибрации. Если перевести эти вибрации в звуки, у каждой планеты будет своя музыка, свое звучание света. Звук ее магнитных полей и ионосфер, солнечных ветров, радиоволн, пойманных между планетой и ее атмосферой.

Звук Нептуна плавный и стремительный, точно прилив, обрушивающийся на берег завывающей бурей; Сатурн грохочет, как реактивный самолет, гул резонирует в стопах и отражается от

костей; кольца Сатурна звучат по-своему, словно ураган, проносящийся через заброшенное здание, только в замедленном и искаженном темпе. Уран неистово визжит. Спутник Юпитера Ио издает металлический пульсирующий гул камертона.

Земля — сложный оркестр звуков, репетиция с участием музыкальных пил и деревянных духовых, искаженное гудение двигателей на полном газу, битва галактических племен на скорости света, трели, разносящиеся эхом по утреннему тропическому лесу, первые такты композиции в стиле транс, и за всем этим — звенящий шум, звук, собирающийся в полом горле. Неуверенно нащупываемая гармония, обретающая форму. Звук далеких голосов, сливающихся в хоральную мессу и тянущих продолжительную ангельскую ноту, расширяющуюся сквозь статические помехи. Ты думаешь: сейчас Земля разразится пением. Подобно тому как возникает первый хоровой звук, исполненный намерения, эта блестящая жемчужина-планета берет краткий, но такой прекрасный аккорд. Ее свет — это хор. Ее свет — ансамбль из триллиона вещей, которые собираются и объединяются на несколько быстротечных мгновений, прежде чем снова погрузятся в там-там-тарарам, хаотичное кувыркание и ста-

тико-галактический транс деревянных духовых инструментов и тропических лесов дикого и весело распевающего мира.

Благодарности

Спасибо НАСА и ЕКА за щедро предоставленные сведения. Спасибо за бесценную поддержку Обществу авторов и Фонду Санта-Маддалена, а также Яро Савельевой, Полу Линчу, Максу Портеру, Натану Файлеру, Элу Хэлкроу, Серен Адамс, Дане Фриис, Рику Хьюзу, Анне Уэббер, Элизабет Шмитц, Дэвиду Милнеру, Михалу Шавиту и Дэну Франклину (за то, что помог мне продержаться так долго).